Людмила
Соколова

По молитвам бабушки

Воспоминания внучки
курской старицы Мисаилы

Людмила
Соколова

По молитвам бабушки

(Воспоминания внучки
курской старицы Мисаилы)

Курск
2015

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р15-501-0018

Соколова Л.М. По молитвам бабушки (третье издание, исправленное и дополненное). Курск, из-во «Мечта», 2015. - 142 с.

Эта книга написана младшей внучкой курской старицы Мисаилы. Людмила Матвеевна Соколова была свидетельницей непрестанных молитвенных трудов своей бабушки, которую Господь удостоил сострадательной любовью к людям, даром исцеления и прозорливости.

На долю внучки выпали тяжелые испытания: после короткого счастливого детства в дружной православной семье — арест родителей, нищета, голод, война, принудительные работы в Германии, допросы после возвращения на родину... Упование на Бога и бабушкины молитвы помогли выжить, не отчаяться и сохранить человеческое достоинство.

Эти искренние и яркие воспоминания будут интересны читателям всех возрастов: здесь есть и трогательный рассказ о тайнах и переживаниях детства, и описание благочестивого уклада русской семьи (к сожалению, большинству из нас уже незнакомого), и пронзительные страницы о первой любви — нежной, чистой и трагической.

Книга, которую вы держите в руках — еще одно документальное свидетельство нашей истории, отраженной в судьбе русского человека, которое послужит нам в поддержку и в укрепление веры.

ISBN 978-5-98916-108-9

© Соколова Л.М., 2015
© ООО «Мечта», 2015

Глава 1
ЛЮБОВЬ И МИР

Не было, наверное, детей счастливее нас: мы родились и выросли в семье, в которой всегда царили любовь и мир.

Старица Мисаила

Воплощением спокойствия и умиротворения была наша бабушка. Милая моя бабушка — в миру Матрена Гавриловна Зорина, а в монашестве Мисаила — родилась в 1850 году в нашем селе Муравлево, или, как его еще называли, Зорино Бесединского уезда Курской губернии. С шести лет она осталась сиротой, в семнадцать лет ее насильно выдали замуж за инвалида. Много перенесла она унижений, на ее плечи лег непосильный труд. В 32 года она овдовела, и тогда решила стать монахиней. Поручив своего трехлетнего сына свекрови, она ушла в Иерусалим, чтобы там принять

монашеский постриг. Но воля Божия была иной: в 34 года, по повелению Свыше, она вернулась на родину, в Зорино. В 36 лет, после болезни и летаргического сна, ее посетила Божия Матерь и наградила за терпение и смирение даром прозорливости. Вот как это было.

Бабушка тяжело заболела, и все думали, что она умерла. Очнулась она уже в гробу, как будто от какой-то яркой вспышки. Псаломщик, который читал над ней Псалтирь, в ужасе убежал. Бабушка захотела встать и опустила ноги из гроба. И тут она увидела в святом углу, как будто в облаке, образ Божией Матери «Троеручица». Пресвятая Богородица обратилась к бабушке: «Милая моя, много ты перестрадала, много претерпела. Но теперь, где ты будешь, там и Я буду, где твоя нога ступит, там и Моя». Что еще сказала Богородица, бабушка никогда никому не рассказывала. Она получила от Божией Матери дар прозорливости, дар исцеления больных молитвами и еще один важный дар — дар совета, так необходимый человеку в трудную минуту жизни. И вот тогда бабушка приняла монашеский постриг с именем Мисаила, чтобы служить Богу и людям. Божий дар проявился сразу после явления Божией Матери. Первый раз бабушка указала соседу, у которого увели лошадь, точное место, где ее найти. Скоро к бабушке начали приходить не только соседи, но и люди из других сел, и в Курске о ней узнали.

Наша бабушка — это наш источник тепла, ласки,

любви и, конечно, молитв. Ее молитвы — это наша защита в самых невероятных ситуациях. Ее молитвы берегли нас при ее жизни и после ее кончины помогают нам жить.

Наверное, по молитвам бабушки Господь дал нам такого папу, а ей сыночка, Матвея Васильевича Зорина. Благочестивый, честный, с врожденным тактом и благородством. Папа и внешне был красивый. Особенно были хороши его добрые, голубые глаза. К нам, детям, у него всегда было ласковое слово, а ровное обращение было не только к членам семьи, но и вообще к людям. Он всегда облегчал нашу жизнь и вносил радость и покой в каждое детское сердечко.

Неслучайно вышла за папу, вдовца с двумя маленькими детками, моя мама — Александра Афанасьевна Василевская. Мама из семьи священнослужителей: и дедушка, и отец ее — священники. А дядя Амвросий — наместник Киево-Печерской Лавры, архимандрит.

Наша 20-летняя мама вышла замуж за 36-летнего папу. Мама окончила гимназию, очень была трудолюбивая. Она умела и шить, и вязать, и вышивать, и петь. Где только мы ни жили, у мамы везде были уют, порядок и... цветы.

Господи, как нам Тебя не благодарить за то, что Ты сподобил нас родиться в такой семье. А нас было пятеро детей — один сын и четверо дочерей: Нина, Тамара, Маргарита и я, Людмила. Старший был Владимир. В моих воспоминаниях детства главное

Отец — Матвей Васильевич Зорин. Около 1910 г.

Мать — Александра Афанасьевна Василевская. После окончания Курской епархиальной гимназии. 1918 г.

место занимали не сестры, а мама и бабушка, так как я часто и долго болела, и они всегда были рядом. Утро. Раньше всех встает моя мама. Я еще сплю. Но стоит мне почувствовать, что мамы рядом нет, меня будто ветром сдувает. Я вскакиваю с кровати и бегу искать маму. Вот и мама! Она уже наливает самовар. Я обнимаю ее ноги двумя ручонками. Мама поднимает меня, целует: «С добрым утром, мое солнышко!»

Дети Зориных. Слева направо младшие — Рита, Тамара; старшие — Нина, Володя. Около 1928 г.

И день начался.

Встали мои сестры Тамара и Рита. Они старше меня на четыре и три года. Но мне они кажутся взрослыми. Мама поручает меня Тамаре, и мы идем умываться. Я не очень люблю умываться: вода утром такая холодная. Сестра докрасна натирает мое лицо и уши холщовым полотенцем и ведет меня в комнату молиться. Я очень внимательно повторяю все слова молитвы и очень старательно складываю пальчики перед началом молитвы. «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Я очень сосредоточенно повторяю слова «Пресвятой Троицы», а потом молюсь за бабушку, папу, маму, и брата, и всех сестер, и за себя.

Володя, 7 лет. Около 1917 г.

Вприпрыжку после молитвы бегу в бабушкин домик, а он рядом с нашим новым домом. Глазами проверяю: нет ли подвод перед крыльцом, не заходит ли кто со двора к ней, и тогда бегу к бабушке в ее кухоньку, где в основном и проходит ее

жизнь: здесь она молится и здесь принимает людей.
— Доброе утро, бабуся! Я уже умылась и помолилась, — сообщаю я ей.
— Доброе утро, егоза! — бабушка крестит меня и дает мне святой воды и кусочек просфоры.
Я сажусь рядом с бабушкой на скамейку напротив печки, бабушка садится рядом. В руках у нее, как всегда, четки. Я люблю сидеть с бабушкой молча: в печи горят поленья дров, вокруг огня горшочки. Особенно мне нравится наблюдать за маленькой махоточкой (самый маленький глиняный горшочек), в нем варится молочная пшенная каша. Она пыхтит, надувается пузырем, поднимается все выше и выше и, наконец, будто тяжко вздохнув, лопается и опускается. Мы обе смотрим на огонь.
Бабушка перебирает четки: значит, она молится. А я вспоминаю, что здесь мама вчера сказала нашей соседке Прасковье Ивановне: «Конечно, мама больше всех любит Людочку: ведь она ее с того света за ножки вытянула». Я не люблю надоедать взрослым с вопросами, особенно когда они обращаются не ко мне. Я знаю, что совсем недавно меня мама вытащила за ручки, и не с «того света», а из ямки. Она разрешила нам поиграть на песочке за нашим огородом, а Тамаре поручила меня засыпать по шейку песочком. Тамара с Ритой, еще соседские дети Липилины помогали, выкопали ямку в песочке, поставили меня туда. Мне не понравилось сначала: песочек холодный был, а потом, правда, теплым присыпали по шейку, а сами стали строить

песочный городок. Вдруг кто-то закричал: «Коров на обед гонят». Все с криком разбежались, сестры за мамой побежали, а ко мне уже первая корова подходит, я от страха даже не закричала. А корова понюхала, перешагнула через мою головенку и пошла дальше, оставив меня, онемевшую от страха. Тут прибежала перепуганная мама: «Сейчас я тебя откопаю, сейчас освобожу». Разгребая вокруг меня песок и вытаскивая меня за ручки, она все повторяла: «Слава Богу, все хорошо, все хорошо!» Девочки тоже помогали откапывать меня, а сами, перепуганные, плакали. Мама и их успокаивала, ведь они тоже испугались за меня: «Глупышки, я же просила закопать по шейку не стоя, а лежа. Ну, я сама виновата: надо было вам объяснить хорошо. Ну-ну, не плачьте, все обошлось хорошо!» Вот так меня мама и вытащила за ручки, и не с «того света», а из песочной ямочки.

Как я люблю вот так сидеть рядом с бабушкой и разрешать про себя свои сомнения, иногда я мечтаю. Я люблю мечтать. Дверь открылась, и мама с порога:

— Самовар на столе, бабушка с внучкой, прошу к столу.

Я знаю, папы за столом не будет: он уехал в Москву за товаром. К столу мы собираемся дружно. «Все должны уважать маму, — так говорит нам папа, — мама не может целый день стоять у стола». Сегодня за столом соберутся все: бабушка, мама, мама-крестная — Лидия Владимировна Сафроно-

ва, сестра первой папиной жены, Тамара, Рита и я. Как хорошо и радостно жить! Мне кажется, у нас никогда не убирали со стола самовар. Он кипел на столе утром и вечером. И такой уют создавали эта тихая песенка кипящего самовара и блестящие мерцающие огоньки поддувала.

В кругу своей семьи. Зорино. Слева направо: отец — Матвей Васильевич, Людмила, мать — Александра Афанасьевна, бабушка — старица Мисаила, сестры — Тамара и Нина с младенцем. 1950 г.

Вот бабушка прочла «Отче наш», все садятся, мама укладывает чистые яички под крышку самовара, и пока все заняты подготовкой бутербродов, я с восторгом любуюсь «уродиками» на стенке самовара: то сплющенные, то изогнутые, то тощие, они

смеются надо мной, а я тихонько смеюсь над ними. Но это моя тайна. Свои впечатления я не люблю выплескивать на всех. Ведь у ребенка свой мир, своя жизнь, куда он не хочет впускать никого другого.

Чай мы пьем в бабушкином доме, чтобы бабушка далеко не отходила от своих посетителей. Я люблю бабушкин домик. Там всегда уютно, чисто и спокойно. Большая комната светлая, два окна во двор и три на улицу. С правой стороны от двери стояло пианино. Это пианино мамы-крестной и дамский письменный стол тоже ее — изящный, черного цвета, он приютился в уголке. В красивых рамках две фотографии. На одной молодой мужчина — это жених мамы-крестной. Он погиб. А на второй — мама-крестная в длинном платье стоит около своей мамы, мне кажется, суровой женщины, а с другой стороны — изящная, высокая, в черном бархатном платье, с красивой брошью на груди, Мария — сестра мамы-крестной, первая псковская красавица и первая жена моего папы. Она умерла, когда ей было 34 года. Напротив стоял и стол и диван, а на стене картина «Море и над ним чайка». А в углу бабушкина икона — большая, красивая «Троеручица» — и перед ней всегда горящая лампада.

Эту икону привез бабушке монах из Иерусалима после явления ей Божией Матери.

В бабушкиной спальне стояла кровать, в святом углу — икона Спасителя и тоже день и ночь горящая лампада; рядом с кроватью — кипарисовый сундучок из Иерусалима. Запах от него был нежный и

очень приятный. У входа — шкаф, но что там было — не знаю. Он был бабушкин — и это главное.

В новом отцовском доме все было больше и выше. И большая гостиная, и столовая, и детская, и спальня, и большая кухня с огромной печкой. Мебели было мало — только все необходимое. Зато сколько радости приносил нам «волшебный фонарь» со светящимися картинками, который бабушка тоже привезла из Иерусалима. Вся жизнь нашего Господа Иисуса Христа проходила перед нами. Но это было только по праздникам. И тем дороже это было для нас.

Мама-крестная (стоит) — Сафронова Лидия Владимировна со своей матерью. Около 1918 г.

Володя с Ниной учились в Курске и жили у маминой тети Анны Львовны, у нее был двухэтажный дом: четыре комнаты внизу и четыре вверху. Зато летом мы были все вместе. Володя помогал папе в закупке товаров и продаже их в нашей «лавочке», как говорили здесь жители. Нина помогала маме, но в основном она была с нами. Мне кажется, первое, что я вспоминаю, — это как Нина

нас учит рисовать. Я рисую по собственному вдохновению. И, конечно, это должны быть сказочные принцессы. Но почему-то Нина меня огорчала:
— Людочек, — так она меня звала, — но почему у твоих принцесс руки длиннее ног?
Я вздохну, но продолжаю все так же.
— Летом надо больше быть на воздухе, хватит протирать штанишки, рисовать зимой будете, — командует мама-крестная.
Сколько радости, визга на берегу нашей реки Сейм! Берег был меловой, чистый, вода прозрачная, но немножко прохладная: очень много было родниковых ключей. Мне вообще не разрешали долго барахтаться в воде, мама-крестная бесцеремонно вытаскивала меня из воды, закрывала теплой простыней и усаживала на деревянный, прогретый солнцем мостик.
Еще все плещутся в речке, вижу, подходит к нам отец Павел. Он, уже приехав из города и выпив чай, пока бабушка занята, решил прогуляться к реке. Всех поприветствовал, сел рядом со мной на мостике. И как будто, между прочим, стал мне рассказывать неприятную историю. Зашел он в комнату и вдруг услышал жалобный, тонкий, чуть скрипучий голосок, а раздавался он из-под чехла пианино: «Посадила меня девочка в коробочку, а у меня дома остались детки, и сам я уже второй день ничего не ел и не пил». Я затаила дыхание: ведь это я вчера посадила красивого жука в спичечную коробку. «Вот если бы эту девочку посадить в такую темную

и тесную коробочку и не дать ей ни есть, и ни пить», — отец Павел замолчал. Я почувствовала себя виноватой, но тоже молчала, что эта девочка — я! Хорошо, что он не спросил: «Кто же это такой злодей?» Зато, как только мы вернулись домой, я побежала в бабушкин дом, достала коробочку и скорее во двор, к тому месту, где я этого жука нашла.

Вечером отец Павел погладил меня по головке.

Мы все любили не только речку, но и прогулки с Ниной, мамой-крестной, в лес. Мама обязательно укладывала в наши корзиночки калачи, яички, огурцы, пирожки с рисом и яичками, заваривала чай и, покрыв все наши головки шапочками, благословив, отпускала в лес.

Что это было за очарование! Каким величественным и таинственным казался мне мир! Сколько загадок и чудес раскрывал он передо мной.

К лесу вела узкая дорожка посреди высокой ржи. Она казалась мне высоченной стеной, нарядной и праздничной, украшенной васильками.

В лесу я бегала от цветочка к цветочку, порой отрываясь от остальных. Но зоркий глаз крестной не давал мне развернуться.

— Колокольчики — маме, а бабушке — ромашки, — передавала я цветы сестрам.

— Но только отрывай подлиннее стебли, — напоминали мне мои сестрички.

Все уже притомились, и Нина с крестной нашли зеленую лужайку и стали на салфетку выкладывать все, что положила нам мама. Пока занимались

подготовкой к закуске, я старалась собрать больше цветов. А в лесу было чудесно: куковала кукушка, заливался соловей, на все лады звенели голоса разных птичек. Я не могла остановиться! Чудный Божий мир очаровывал меня.

— Не уходи далеко, а то потеряешься, — предупредили меня сестры.

— Я вас всех вижу, вот только на эту горочку, — успокоила я их и... застыла на месте.

Окаймленное белыми березами, как гладкое зеркало, блистало на солнце озеро: застывшие на берегу березы отражались в воде. Эта красота сразила меня. Я даже зажмурилась, думая, что это исчезнет, стоит мне открыть глаза. Но все было так же волшебно, прекрасно. Я закричала:

— Мама-крестная, Нина, идите скорей сюда, — мне все казалось, что эта красота вот-вот исчезнет на моих глазах.

Я не помню, как восприняли эту картину мои родные, но это озеро с его белыми отраженными березами осталось в моей памяти на всю жизнь.

А дома нас уже ожидала мама. Как я ее люблю! Мы вручаем ей колокольчики, мама целует нас всех, а с ромашками я бегу к бабушке. Она любит цветы.

— Спасибо, внучечка, вот порадовала меня! — и бабушка ставит цветы перед иконами.

А я уже с мамой. Она хочет мне что-то показать. Сестры сортируют цветы, а я с мамой иду к большой корзине, где высиживает яйца гусыня — «запоздалая мама», как говорила о ней моя мама. Я с гусыней

не дружу: я не люблю, когда меня щиплют за ноги. Сейчас гусыня на прогулке. Я заглянула в гнездо: из одного гусиного яичка пробивается носик.

— Мама, мама! Почему у него черный носик? Мы с мамой наклонились над корзиной.

— Мамочка, ведь у гусыни красный носик.

— Значит, он будет похож на папу-гуся, и будет такой же красивый.

Я знаю, моя мама всех любит: всех ребят в школе, всех учителей — они всегда идут к ней со всеми своими невзгодами и радостями. Она умеет всех выслушать, успокоить, и потому к ней все тянутся.

А как-то папа привез ей что-то в мешке:

— Шура, — обратился он к маме, — тебе подарок.

И вдруг этот подарок хрюкнул в мешке.

— Где же ты нашел этого заморыша? — удивилась мама, доставая из мешка маленького, худого, курносого и вшивого поросенка.

— Знаешь, — ответил папа виновато, — никто его не захотел купить, а я подумал: не довезет его продавец до своего дома, мы все-таки ближе живем...

И тут мама проявила всю свою деловитость. Она посадила поросенка в таз с теплой водой, сестры помогали маме его держать, а я бегала вокруг и смотрела, как он все розовел от теплой воды и гребешка...

Целый вечер вся семья провозилась с этим заморышем. Он даже не хрюкал. Мама спокойно укутала его в старую простыню и, как ребенка, передала Нине:

— Подержи его, а то он замерзнет.

— Какой же он маленький! — удивлялась я.
Поросенку тепло понравилось. Мама принесла бутылочку с молоком и соску. Сколько же было радости, когда этот «Малыш» (так мы его прозвали) зачмокал и даже от удовольствия хрюкнул.
— Его нельзя относить во двор, хотя и лето. Мы его положим в кухне.
И чтобы он не замерз, мама принесла подушку и положила его, не снимая простыни. И наш гость, напившись, согревшись, заснул, как ребенок.
Сколько же возилась мама с этим поросенком, пока он не окреп. Сестры помогали и купать и кормить его. Спал он только на подушке. До чего же это был воспитанный поросенок! Он усвоил все правила приличия в нашем доме и хорошел с каждым днем. За мамой он следовал всюду: она шла во двор, и за ней — «хрю-хрю» — следом Малыш; мама в школу — и он за ней.
— Иди домой! — возвращала она его.
Даже мамины ученики полюбили Малыша. А вечером, когда мама садилась проверять тетради, он клал ей на колени свои ножки, а сверху курносую мордочку и, закрыв глаза, тихонько хрюкал.
Резать такое «благородное» животное никто бы не смог. И папа, пока поросенок был еще небольшим, вручил его какому-то артисту цирка. Мы все о нем долго скучали.
И вот теперь эти странные гусята. Три появившиеся на свет гусенка не вызывали у меня симпатии. Лапки темные, будто все время в грязи топчутся, а

носики вовсе неумытые. Один гусь и две гусыньки: одна сразу захромала на лапку, а вторая вовсе не росла. Зато гусь за троих вырос: огромный, важный, он даже разговаривал не по-гусиному «га-га-га», а шел по двору и кричал, как осел: «И-и-иа». Признавал он только маму. Мама идет к колодцу, и он важно шагает за ней и кричит: «И-и-иа. Не подходите к моей хозяйке». Люди стали обходить наш дом, зная нрав этого строгого сторожа.

— Мамочка, — звала я маму, — привяжите гусака, он не пускает меня во двор.

Я даже брала кусочки хлеба. «Теша, теша», — звала я гусака ласково. А «теша» важно подойдет, аккуратно снимет своим темным носом кусочки хлеба с моей ладошки, но тут же зайдет с другой стороны и обязательно ущипнет меня за ногу, а потом важно отойдет. Целый год этот мамин красавец пугал нас, детей, и соседей.

Однажды к маме пришел из соседней деревни Полевой знакомый мужчина.

— Ну, зачем тебе, Афанасьевна, этот гусь? Нужен сторож — заведи собаку, — уговаривал он маму продать ему этого гусака.

И, наконец, этот красавец ушел из нашей жизни. Прошло время, приходит этот мужчина и приносит к празднику уже обработанную гусыню.

— Ну, Афанасьевна, пришел я к тебе с благодарностью. У меня теперь целое стадо темноносых гусей, только самого гусака уже нет. Погиб он как настоящий герой. Отогнал я своих гусей к речке,

вдруг слышу крики: «Бешеная собака!» Смотрю — она бежит прямо на моих гусей. Но тут наш гусак взмахнул крыльями и ринулся на бешеного пса. Как коршун, вцепился в спину собаки и придавил ее крыльями. И не отпустил, пока не прибежали с ружьем. Но и гусак погиб.

Я видела, как опечалилась мама. Господь одарил мою мамочку глубокой любовью ко всему живому, и все платили ей добром.

Вечером, когда все дела у мамы были закончены, она собирала нас в саду, а зимой у камина, и учила нас петь. Сама она пела в церковном хоре, и к каждому празднику мы с ней пели «Рождество Твое, Христе Боже наш», «Светится, светится», «Слава в вышних Богу».

Пели и детские песни: «Ах, попалась, птичка, стой». Мне нравилось «Слети к нам, тихий вечер». Мне казалось, что эта песня про наши долины, про наши березы, про нашу зарю. Мы с Ниной часто вечером поднимались на горку и провожали солнышко спать. Пели «Вечерний звон», но когда начинали петь «Буря мглою небо кроет», чувство какого-то беспокойства охватывало меня, и какой-то непонятный страх сковывал мое сердечко. Особенно слова «то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Я забиралась к маме на колени и даже вздрагивала. «То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит», — я смотрела на окна, как будто ожидая какого-то незваного гостя. И такой нестерпимой тоской наполнялось все мое маленькое существо, что

я вдруг заливалась слезами. Никто не мог понять мою душу, а сама я рассказать не могла. Но мама что-то чувствовала, и мы перестали петь «Бурю».
Зато как мы любили слушать, когда она пела «Я помню вальса звук прелестный»! Мы все замирали. «Вы просите песен, их нет у меня», «У камина» — мама много знала и пела романсов.
А если мама была занята, Нина собирала нас на крыльце бабушкиного дома летним вечером и рассказывала нам о звездах, учила находить Большую и Малую Медведицу. А вечера были восхитительные. Весь луг был залит серебряным светом луны, а на фоне не совсем потемневшего неба вырисовывался ольховый лес, таинственный и загадочный. Воздух был насыщен ароматом маттиолы, душистого табака и роз, вокруг будто была разлита какая-то нежная грусть, а в кустах заливались сладостными трелями соловьи. Мы умолкали от какого-то необъяснимого чувства счастья и покоя. Эти вечера делали нас добрее и душевно богаче. И, помолившись Богу, мы шли к бабушке, она всех нас осеняла крестом, а потом — к папе и маме, говорили всем «Спокойной ночи» и засыпали здоровым сном счастливых детей.
Осенью я чаще была у бабушки. Даже когда у нее было много людей, я забиралась с куклой на печку и вела с ней разговоры. Когда бабушка оставалась одна, я спускалась с печки и в постные дни ела с ней манную кашу с вишневым вареньем. А затем она доставала круглую шкатулку, полную лесных

орехов. Лучшего лакомства для меня не было. А бабушка в это время отдыхала.

Вот пришли мои сестры из школы. Я их очень люблю. Я бегу к ним со своими просьбами: сшить наряд для куклы, сделать тряпичную куклу. А вечером, когда Тамара и Рита готовят уроки, мне дают карандаш и бумагу. Я рисую долго и старательно. Но не было для меня большего удовольствия, как взобраться на стул перед комодом, разложить старые мамины толстые тетради, исписанные ею в гимназии. Я молча их листала. Листая, каждый раз я переживала какие-то необыкновенные минуты: каждый листок был для меня полон тайн, волнующих загадок. Какой-то радостный трепет вызывало у меня это перелистывание. Для полного счастья не хватало, хотя бы изредка, самой маленькой картинки, совсем маленького рисунка. И я каждый раз ожидала чуда: вот сейчас появится необыкновенный, крошечный, где-нибудь в уголке листа рисунок. Это созерцание маминых записей проходило в полном сосредоточенном молчании, я ничего не замечала вокруг в эти волнующие для меня минуты. Как был непонятен и загадочен мир маленькой девочки!

Если было с утра холодно, мама говорила:

— Сегодня ты посиди дома, поиграй, порисуй.

Но я любила сесть у окна и молча наблюдать за жизнью за окном. Вот пробежал кот Мика. Он так осторожно ставит свои лапки, как будто боится их замарать. Но если это была зима, особенную жа-

лость вызывали у меня воробьи и галки. Мне казалось, что их голеньким ножкам очень холодно, а я ничем не могу помочь. И это меня огорчало. Как много детских раздумий, размышлений остаются навсегда сокрытыми от всех.

Совершив какую-нибудь проделку, шалость, я знала, что это плохо, и я никогда не пыталась отказаться от своей вины или скрыть свой грех. Я должна была обязательно путем раскаяния снять с души эту боль.

Как-то я залила чернилами красивую шахматную скатерть. Только вошла в комнату мама, я бросилась к ней и показала ей залитую скатерть. Глядя на мое виноватое лицо, мама ласково сказала:

— Доченька, ты же это не нарочно сделала, и я могла разлить чернила случайно.

Я даже не знаю, как чернильница у меня из рук выскользнула.

Мама погладила меня по головке и добавила:

— В следующий раз держи чернильницу крепче. Я обняла мамочку двумя руками:

— Мамочка, я тебя так люблю!

— И я тебя, дочечка!

А в те дни, когда я оставалась одна, я садилась за мамин туалетный столик перед трюмо, любовалась красивыми статуэтками, флакончиками с духами, и особенно меня волновала шкатулка с маминими украшениями. Я постепенно доставала одно за другим ожерелья и украшала свою особу, а затем, чтобы завершить свой туалет, я взяла мамин гребень из слоновой кости и решила расчесать свои густые

кудряшки. А он был изящным и не был предназначен для такого варварского обращения. Гребень сломался пополам. Я даже не избавилась от всех блестящих сверкающих украшений, схватила гребень и забросила его в траву. Целый день я терзалась укорами совести, и вид мой был настолько угнетенный, что мама вечером спросила:

— Людочка, ты не заболела? — и приложилась губами к моему лбу.

И тут, как прорвавшаяся плотина, сквозь слезы полилась моя самообвинительная речь. Мама поняла, как я уже себя наказала терзаниями совести, и спокойно сказала:

— Пойдем, Людочка, поищем хотя бы части гребешка. Мы его быстро нашли, мама положила его в шкатулку, посадила меня на колени и, приглаживая мои кудряшки, спокойно стала мне говорить:

— Доченька, ты еще маленькая, но ты обязательно запомнишь, что я тебе скажу. Ты у нас хорошая девочка, никогда не бери чужих вещей, даже для такой цели, для которой был взят этот гребешок. Испортишь свою вещь — жалко, обидно, но тебя не будут мучить стыд и ответственность. Ты поняла меня, моя девочка?

— Да, мамочка, я больше ни у кого ничего не возьму без разрешения, — отвечала я, заливаясь слезами от стыда перед мамой и жалостью к ней, потому что я ее лишила такого дорогого подарка: этот гребень подарил ей папа. И только моя мамочка могла так облегчить мои мучения без гнева и упрека. И это

такое счастье — быть понятым и прощенным!

А сколько радости нам приносили праздники с их предпраздничной суетой! Закончилась тщательная уборка, в доме чистота: в душе томительное, но пленительное ожидание самого праздника. В Чистый четверг мама с утра нас всех искупала. Накануне была примерка новой одежды, все-все новое: от чулок и обуви до красивых лент для волос. Папа уже привез к четвергу нам всем китайские фонарики. С каким нетерпением мы ждали старших из церкви со святым огоньком после чтения двенадцати Евангелий! И наши фонарики зажигались горячим чувством любви к Богу. Вечером все наши фонарики были развешаны в саду, и мы не могли уйти из сада, пока нас не уводили спать.

После Чистого четверга заканчивалась подготовка и выпечка куличей. Как я любила смотреть, когда мама разделывала тесто! Оно было такое ароматное, что мне казалось, его можно есть сырым. Таких куличей, как пекла моя мама, я не ела и не видела ни у кого и никогда.

Творожную пасху я маме помогала укладывать в формочку: с особой ответственностью подавала маме тонкие досочки, которые она вкладывала в донышко. Никогда мама не сказала мне: «Не мешай». Наоборот, она благодарила меня за помощь.

Бабушка уже испекла просфоры: белые, красивые, зарумяненные. Я смотрю на них и думаю: «Ну, почему нельзя взять и съесть?» Но я твердо знаю: нельзя — и все!

Вот и Пасха! Что за чудный день! Еще вчера колокол звонил протяжно: «Б-о-о-м! Б-о-о-м!» («К нам! К нам!»), а сегодня с утра (ночью я спала) звонко, радостно: «Дили-дили-бом! Дили-дили-бом!» («Как хотите! Как хотите!» — так папа объяснял значение колокольного звона).

С вечера мы все просим бабушку, папу, маму взять нас на ночную Пасхальную службу. Нам обещают взять, когда мы подрастем. Нас укладывают спать, но мы долго не можем заснуть.

А утром, еще до восхода солнца, нас будят. Это радостное раннее пробуждение сразу снимает сонливость, и мы быстро одеваемся и, ощущая всю важность этого утра, сосредоточенные подходим к столу. На столе освященный кулич с зажженной свечой, вокруг яички, творожная пасха, кусочек ветчины и соль. Мы все стоим у стола напротив святого угла, а мама, папа и бабушка поют «Христос Воскрес», «Светися, светися, новый Иерусалиме». А потом мы подходим к бабушке, папе, маме и друг к другу со словами: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!». Трижды произносим и трижды нас целуют в щечки. Как торжественно и строго все это проходит. Разговевшись, все взрослые ложатся спать, а мы досыпать. Ощущение таинства окутывает нас, детей, и мы долго не можем заснуть. Но, наконец, наступает тишина. Все спят...

Просыпаемся мы раньше старших, спешим надеть все праздничное, наша мама-крестная (она оставалась с нами) красивыми бантами завязывает лен-

ты на голове. Вот проснулась вся семья. Мы ничего не говорим, но чувство праздничности волнует и радует нас. Дверь в столовую закрыта. Володя берет меня на руки, и в это время мама-крестная распахивает обе половинки двери в столовую. Какой восторг вызывает у нас этот праздничный стол! На белоснежной скатерти так красиво вырисовывается наш столовый сервиз. Во всю длину стола расставлены небольшие букетики ранних цветов. Стройными группами стоят красивые винные бутылки, а на столе чего только нет: и ароматный, золотистый окорок, запеченный в ржаном тесте, и индейка с яблоками, и заливные рыбы в больших блюдах, и копченая севрюга, нарезанная ломтиками и обложенная свежими огуречными скибочками. Глаза разбегаются. Все красиво, все вкусно! Мы не были голодными, но праздничный стол — это подарок от Бога за родительские труды, это радость души для всех. В этот день мы обязательно получаем подарки: Тамаре и Рите — красивый яркий мяч, а мне — куклу.

Стол, такой же нарядный, стоит весь день. Подъезжают с поздравлениями отец Леонид с матушкой, Мария Васильевна, агроном с семьей и другие. Но мы, уже уставшие, обновляем свои подарки.

Незаметно и Святая Троица. Оба дома в цветах и березовых ветках. Но все-таки на Троицу наша семья отдыхает от суеты и беспокойства. Волновались больше мы, дети: нарвать цветов, наломать березовых веток, украсить бабушкин и наш дома.

На Троицу всей семьей ходили в церковь. Мама пела в церковном хоре. Я ее голос сразу узнавала: мягкий, бархатный. Конечно, я не понимала, что происходит во время службы, но вся атмосфера Божественной службы заставляла меня ощущать какое-то необычное волнение. Иногда папа брал меня на руки или бабушка усаживала на свой стульчик. Но с каким усердием становилась я на коленочки и вместе со всеми поднималась с мягкой нежной травки. Из всей службы я запомнила свои поклоны на травку и отца Леонида с кадилом и крестом. Хорошо и радостно проходило лето. Зима тоже радовала меня. Снег. Сугробы. Горки. Саночки. Летишь с горки и бух прямо в сугроб. Отряхнусь чуть-чуть и опять наверх. Домой приходила раскрасневшаяся, счастливая и вся с головы до ног мокрая, и как приятен был запах свежеиспеченного круглого хлеба!

Маргарита Зорина

— Мамочка, пожалуйста, дай мне горбушку хлеба с маслицем!

— Сначала переоденься, с тебя уже целое озеро накапало.

Мама весело меня переодевает, дает бутерброд. А потом читает мне сказку про Царевну-Лебедь, и я уплываю вместе с Лебедем-Царевной в царство сна.

А вечером, когда Рита с Тамарой выполнили свои домашние задания, папа обращается к маме:

— Одевай девочек потеплее, поедем кататься

Нас радует предстоящая прогулка, мы суетимся около мамы, она тщательно проверяет наши закрытые ушки, в сани расстилают ротонду (теплая длинная накидка без рукавов) на лисьем меху, нас сажают близко друг к другу и закутывают со всех сторон. Как мы радовались быстрому бегу папиного рысака, только снег отлетает от его копыт! Все деревья покрыты пушистым инеем, блестят снежинки, сверкая в лунном сиянии, и, как драгоценные камни, блестят наши счастливые глаза. Мы весело и радостно смеемся, смеется и полная луна, которая будто гонится за нами.

Неужели это было? Было! Было! Но все растаяло, как этот сверкающий снег. Наверное, этот год был вершиной нашего детского счастья.

Вот и Рождество Христово! Накануне еще никакого разговора о елке. Между собой мы немножко волновались. Но все же нас успокаивало: папа все делает вовремя. Всем сказали «Спокойной ночи!» и молчаливо пошли спать.

А утром Володя открыл дверь в нашу гостиную — и

елка-красавица предстала, как в сказке, перед нашими глазами.

Сколько новых игрушек было обнаружено, сколько новых блестящих шаров! Елка была пушистая и высокая, и ее звезда почти упиралась в потолок. А внизу, под елкой, подарки, подарки...

Стали собираться гости. Первыми пришли отец Леонид с матушкой Ольгой, с ними Мария Васильевна, учительница немецкого языка в селе Лисово. Маленькая, худенькая, с узким лицом и длинноватым носом, она была душой общества. Она сияла всегда радостью, неисчерпаемым юмором. Пародировала она бесподобно. Она очень часто приходила к нам. И наша семья вместе с ней и агрономом Максимом Михайловичем также устраивали за чаем концерты. Когда Максим Михайлович с Марией Васильевной разыграли водевиль «Теща в дом — все кверху дном», все от хохота попадали со стульев. Прекрасно читал раннего Чехова — «Антошу Чехонте» — отец Леонид. Мама пела прекрасно. Мама-крестная под аккомпанемент пианино мелодекламировала «Заводь спит, молчит вода зеркальная». Последняя приехала тетя Поля с двумя сыновьями — Ваней и Нариманом.

Перед приходом гостей мы, сестры, похристославили перед папой, мамой, крестной. Нина и Володя нам помогали. Сначала был детский праздник. Руководил им наш Володя. Каких только игр он нам не придумал, каких только не заготовил призовых подарков. Всем было весело, Я сидела у папы на

коленях и, когда уже все, уставшие, пристроились кто где, я обратилась к Володе: «Володя, давай попляшем!».

Володя часто кружил меня по комнате, вот и теперь, приняв приглашение «дамы», он подхватил меня на руки, закружил в вихре вальса под чудесное пение «Я помню вальса звук прелестный».

Пела мама, отец Леонид, жена агронома Елена Сергеевна, а я с самым серьезным видом протягивала свою ручку к Володиной, и мы кружились с ним до конца романса.

Выступали и мои сестры Тамара и Рита, читали стихотворения. Я не помню, кто получил какой подарок, я уже безмятежно спала на папиных коленях.

«Да, то был вальс, прелестный, томный.
Да, то был дивный вальс!».

Но для нас он был последний.

Как я была поражена, когда после праздников я увидела: папа рубит эту чудо-елку на моих глазах. Помню, в молчаливом оцепенении смотрела я, как красота, радость, веселье рассыпаются на моих глазах. И страшное чувство утраты чего-то дорогого и бесценного впервые ранило мое сердце.

Праздники. Одни уходили, другие приближались. Неудивительно, ведь у нас была большая семья: бабушка, папа, мама, Володя, Нина, Тамара, Маргарита и я. Очень близким человеком нашей семье была моя мама-крестная. И все дни Ангелов шли один за одним. Подарки были скромные, но сам день Ангела был торжествен и праздничен. В день

Ангела мы всей семьей шли в церковь. После службы отец Леонид поздравлял именинника и дарил ему большую просфору.

Несмотря на то, что жизнь все-таки состоит в основном из будней, она казалась мне сплошным праздником. Правда, ранние годы моей жизни были омрачены многими болезнями. Сначала золотуха сплошной корой покрыла мой затылок. Затем няня Алена весной гуляла со мной в саду, постелила шерстяную дорожку на земле и, пока я рвала цветочки, она на этой дорожке и уснула, а я, набегавшись, пристроилась рядом с ней, только не на дорожке, а на сырой земле. И начались мои страдания. Сначала я не могла встать на левую ножку. Мама с папой стали растирать мне бедро; от этой процедуры я кричала так, что, наверное, слышно было во всей деревне. Повезли в город. Рентген — и в тот же день операция. Я безропотно ложусь на какой-то длинный стол, вижу: кто-то подходит ко мне сбоку и кладет мне на лицо мокрую тряпку. Проснулась я в большой комнате, мою руку держит врач. Долго заживали три большие раны на бедре. Я очень скучала о маме и все ее звала, а меня — там были еще две женщины — успокаивали: «Ты поспи, мама твоя на кухне картошку жарит».

Милая моя мамочка, она не могла часто приезжать ко мне. Моя дорогая бабушка навещала меня в больнице, говорила, что очень скучает по своей «егозе» и грустит, что никто теперь не сидит с ней по утрам на скамеечке. Она утешала меня, говорила, что ско-

ро я буду дома. А когда она собралась уходить, я стала горько плакать, и бабушка, волнуясь, забыла оставить мне куклу, которую принесла для меня.
Из больницы я не домой попала, а к бабушке Анне, маминой тете. Здесь, в Курске, жили у нее Нина и Володя. Они ко мне в больницу приходили почти каждый день. Бабушка Анна положила меня на свою широченную кровать, чтобы я не раскрылась, не упала. Я любила сидеть в ее кресле у окна и смотреть на улицу. Но там ничего интересного не было. Мостовая булыжная, тротуар кирпичный, и напротив — такой же двухэтажный дом за высоченным забором. Я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь вышел из этих огромных ворот. Когда бабушка была занята в столовой, мне нравилось быть с ней. Там был большой стол, окруженный стульями с высокими спинками, а у стенки стоял красивый ореховый буфет; за окном прыгают воробышки, летают бабочки, и от крыльца вглубь сада по обе стороны желтой тропинки ведут две дорожки маргариток. Сад был большой, и кругом была зеленая-зеленая трава. Но больше всего мне нравилось, как бабушка проверяла банки с вареньем. Она доставала из буфета баночку, развязывала ниточку, снимала бумажку, проверяла, нет ли плесени, и опять закрывала той же бумажкой. И так — баночка за баночкой. Но вот она открыла бумажку, и голова ее — бух: бабушка заснула. Проснулась и опять за дело. Следующую открывает баночку и опять — бух, голова свалилась, опять проснулась и продолжает свое дело. И у меня

занятие — тихонько, молча наблюдать за бабушкой Анной. Вечерами Володя брал меня на руки и с улицы Золотой нес на Красную площадь. Там меня очень удивляли огоньки, как будто свисающие с неба. Напрасно Володя мне рассказывал про провода, я молча слушала и оставалась при своем мнении: они, как воздушные шарики — и никаких проводов.

Наконец, я дома. Папа на лошади встретил меня с мамой и бабушкой прямо у вагона в Полевой. Он аккуратно взял меня на руки, расцеловал и все боялся, что сделает мне больно. Как хорошо дома: вот мои сестры стараются меня развлечь, вот важно ходит кот Мика — все такое родное, близкое, дорогое. Ходить я разучилась, долго меня носили на руках, но однажды посадили меня на горшочек, и все вышли. Я ждала, ждала, подскочила и побежала. Радость была всей семье. Боли не было, остались три глубоких шрама на бедре.

Не успела я встать на ножки, как меня стал мучить кашель. Не спит ночи мама, не сплю я. Опять растирание. Опять больница! Гнойный плеврит. Посадили меня на стул, одна сестра держит ножки, вторая прижала меня к спинке стула, третья держит ручки, а врач стоит с левой стороны с иглой. Кто-то держит тазик. И вот начали выкачивать гной в тазик. Я так кричала, что моя бедная мамочка бегала по всей больнице, чтобы не слышать моего крика. А больные в коридоре говорили: «Живого ребенка режут!». Выкачали три стакана гноя. Забрала меня

мама домой. Ничего не помогло. Задыхаюсь, захлебываюсь гноем, мне нечем дышать. Опять меня мама везет к врачу.

— Удалить надо часть ребер и очистить легкие, больше мы ничем помочь не можем.

— Нет, — сказала бабушка, — не даю совета калечить мою внучку.

Я лежу не поднимаясь. Сестры регулярно дают мне какие-то лекарства. Пью безропотно, но в груди все больше и больше клокочет. Меня положили в гостиную, открыли все окна, чтобы мне легче было дышать. Сидит около меня моя мамочка и плачет. Мимо окна проходит соседка Соня, заглянула в окно, «успокоила» маму: «Сидишь? Сиди — не сиди, плачь — не плачь — все равно умрет».

Мне непонятно, почему плачет мама, но мне жалко ее: ведь она никогда не плачет. Господь хотел меня, безгрешное дитя, забрать к Себе, но бабушка, любя меня (ведь внешне я копия ее, от пяточек до ушей без мочек), умолила Господа, и я осталась на этой земле для мира, печали и слез.

Бабушка в эту ночь долго молилась. Несколько раз подходила ко мне, даст мне глоток святой воды, перекрестит и опять идет к себе молиться. И помолившись, бабушка заснула и видит сон. Играю я около ее дома на травке, а она стоит около меня и плачет. Подходит к ней юноша с кисточками и спрашивает бабушку: «Матренушка, о чем ты так горько плачешь?» — «Внучка моя любимая умирает». — «Подведи ее ко мне». Бабушка подвела меня

к нему. Он кисточкой нарисовал мне на левом боку крест и сказал: «Пособоруй ее!» И бабушка проснулась. Это был Пантелеимон-целитель.

В этот день отец Павел соборовал меня. Мама держит меня на руках, отец Павел соборует, а сам Бога просит, чтобы я не скончалась во время соборования. Мне нечем дышать, но я внимательно слежу, как отец Павел ставит мне крестики на лице, на руках, на ножках. Две женщины помогали отцу Павлу. После соборования положили меня в кроватку, отодвинутую от стены на середину комнаты. Мне было тяжело дышать. По обе стороны кто-нибудь из сестер все время сидит рядом. И вот то, что было не под силу врачам, то по вере моих близких было возможно Господу! Произошло чудо: вечером у меня началась рвота, и весь гной из легких вышел. Хорошо, что рядом со мной сидела Нина: она повернула меня на бочок, иначе я могла бы захлебнуться. И всю ночь сидели у моей постели и мама, и сестрички, и папа. На другой день мне стало легче, а ночью я уже спала. Пантелеимон-целитель очистил мои легкие без иглы и без операции, по бабушкиным молитвам. На третий день я попросила маму: «Хочу хлебца с маслицем».

Как быстро мы забываем все благодеяния, которые дарит нам Господь!

Глава 2
УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО

Кончилось наше беззаботное детство: наступил какой-то страшный, кошмарный сон. Какая-то общая тревога в доме передавалась и детям. Непонятные разговоры за самоваром, приглушенными голосами, потом какие-то люди увели корову и папиного рысака. И, наконец, когда мы, дети, сидели притихшие в детской — сестры за столом, а я на кровати, — вдруг резко открылась дверь, и на пороге появились два милиционера, а в середине папа. Мы смотрим, испуганные, на этих чужих людей. Папа поцеловал Тамару и Риту, я хотела броситься к нему, но милиционер взял папу за плечо и не дал даже обнять меня. У папы на глазах были слезы. И они увели его, нашего доброго, ласкового и честного папу, как будто вора или бандита.

Я соскочила с кровати и подбежала к окну вместе с Тамарой, а Рита выбежала за ними. И видим в окно — стоит наша бабушка, высокая, будто застывшая, молчаливая, и смотрит в ту сторону, куда увели папу. Бабушку не успели взять: ее предупредили, и она целый день просидела в сарае соседки Прасковьи Ивановны. Напрасно ее искали. Вечером мама проводила бабушку на станцию Полевую, а оттуда в Курск, где она скиталась до 1937 года.

Мы ничего не понимали, все молчали. На другой день мы все сидели за столом: мама, Тамара, Рита и

я. Нина с Володей были в городе, а мама-крестная на работе в селе Лисово. Двери в гостиную были прикрыты. И вдруг раздался страшный треск. Вероятно, мама уже знала, что это за грохот. А я бросилась к двери, распахнула обе половинки и, держась за дверь двумя руками, закричала:

— Мамочка, мама. Что эти дяди делают? Они ломают наш дом!

Три мужика уже сняли часть крыши и ломали самую большую стену. Мой крик их даже не заставил вздрогнуть.

— Деточка, иди, сядь за стол, нехорошо выходить из-за стола во время еды, — спокойно сказала мама, — а эти дяди ломают наш дом.

— Но почему, почему, мамочка? — заплакала Тамара. Милая мамочка, сколько надо было иметь выдержки, силы воли, ничем не выдать своего волнения и не напугать нас.

— Людочка, закрой дверь, оттуда летит пыль.

Я, закрывая дверь, еще раз взглянула на дорогую комнату, где так недавно горели свечи на Рождественской елке. И опять заныло мое сердечко, как тогда при виде разрубленной ели.

Нина с Володей приехали домой, помогли маме перенести основные вещи в бабушкин домик. Его пока не трогали. Но недолго было это затишье. Скоро подъехали подводы, и люди стали бросать туда все, что им попадало под руки: всю мебель, картины, мамин туалетный столик, статуэтки, посуду, даже подставки для яичек, в форме рюмочек

в виде разных цветков. У меня был мак, я очень любила есть яичко всмятку из своего цветочка. Даже мамин альбом со всеми фотографиями, начиная от наших прадедушек и прабабушек, и маминых детских, юношеских, и нашей семьи. Когда я болела, единственным моим утешением был этот альбом. Я могла его рассматривать часами. Я знала дедушку Василевского, бабушку Марию, дедушку Амвросия и свою бабушку молодую. Все забрали. Мама отстояла только сиротское наследство и берегла его для Нины и Володи всю жизнь. Оставили только кухонный стол, табуретки, а стулья, две кровати — забрали.

Часто мама ездила к адвокату, добиваясь помилования папы и прекращения варварского грабежа. Но он ей сказал: «Не затрачивай ни сил, ни денег — это общее положение». Этот совет был дан хорошим маминым знакомым адвокатом.

Все мрачней и ниже тучи опускались над нами. Молока у нас уже не было, сварила мама картошку, полила ее жареным луком. Только прочла мама молитву «Отче наш» — на пороге милиционер:

— Приятного аппетита.

Мы замерли. Милиционер молоденький и очень приятный на вид. И обращается к маме:

— У меня ордер на ваш арест.

— Вместе с детьми? — только и спросила мама, а сама бледная как мел.

Он растерялся.

— Хорошо, давайте договоримся: я вас не застал. А

вы уедете на две недели в город, я еще раз зайду и сообщу, что вы выехали из Зорино.
Повернулся и вышел.
Вызвали маму-крестную и Нину, чтобы в мамино отсутствие они побыли с нами. Мама переживает.
— Не волнуйтесь, мамочка, с нами же мама-крестная, — Нина целует и успокаивает маму.
Мама взглянула на маму-крестную, маленькую, курчавую, тоненькую, улыбнулась и сказала:
— Тоже мне защитница.
Перекрестила нас всех, встали мы все на коленочки и помолились за маму и за себя.
Мама-крестная взяла у Прасковьи Ивановны творога, сметаны; та нас любила и все время, как отобрали у нас корову, старалась помочь нам молочными продуктами. «Дети же», — скажет. И вообще она любила детей, всех зверей, кур. С курами у нее была особая дружба, ее «касаточки» садились ей на плечи, на руки, на колени, из рук брали корм.
— Вот и поужинали, теперь будем готовиться ко сну. Нина и Тамара с Ритой, тащите все, что у вас осталось, на пол. Спать все будем на полу. Укроемся простынями. Тепло, не замерзнем.
Меня положили в серединку, чтобы не скатилась и не раскрылась. Все перед сном встали перед «Троеручицей», помолились. И заснули.
Ночью я проснулась от какого-то шума, суеты. Мама-крестная с горящей лампой в руках кричит:
— Нинух, тащи топор! А Тамара с Ритой — в коридор, и кричите: «Разбой! Бандиты!» А ты — это ко

мне, — ложись и хорошо укройся простыней.
Тамара с Ритой напротив двери поставили скамейку и во все горло кричали: «Разбой!» Мама-крестная, в одной руке лампа, а в другой — топор, стояла у почти уже выставленной второй рамы в спальне, а я лежала на полу и, ничего не понимая, все же ощущала какой-то страх. На крики сестер остановились ребята, девушки, возвращающиеся с гулянья. А гулянья тогда были на большой лужайке, куда сходилась молодежь из Зорино, Майково, Хвостово и других деревень с гармошками, балалайками и семечками. Молодежь искренно веселилась. Какие устраивали игры, танцы, хороводы! И никому в голову не могло прийти явиться нетрезвому или с бутылкой. Как далеки были эти юноши и девушки от нецензурщины. Да, они умели красиво, веселиться, достойно!
Вот эти юноши и пришли на помощь моим сестрам. Вставили на место рамы и забили их, обошли вокруг дома, но кроме поломанных цветов, ничего не нашли. Они сидели с Ниной и крестной до самого рассвета. Тамара и Рита заснули рядом со мной. Бандиты были те же самые, которые грабили все наши вещи, им захотелось забрать и сиротское имущество. Но крестная помешала. Зато в эту же ночь неподалеку от нас они убили целую семью, даже ребенка в люльке, и забрали все вещи.
Мама, наверное, ночевала в Полевой, в четырех километрах от Зорино, и, конечно, ей передали, что в Зорино убита вся семья и даже ребенок. И сердце

матери не выдержало: вечером она пришла домой. Как мы бросились к маме, наперебой рассказывая о событиях прошедшей ночи!

— Мои доченьки, дорогие мои, — плача, обнимала нас мама. — Господи! Благодарю Тебя!

Мама поцеловала курчавую головку крестной, а потом горячо, со слезами, целовала руки нашей маленькой мамы-крестной.

— Ну-ну, я-то причем, — смущалась крестная, — так было Богу угодно.

На другой день разошлись по своим делам, а к вечеру должны были собраться, а мама опять уйти. Мама и я дома. Какое это счастье быть рядом с мамой. Я от нее ни на шаг! Мама в спальне застилает кровать, а я стою около двери и играю дверной защелкой.

— Мы сейчас с тобой помолимся и будем завтракать, — прикрывая ажурной накидкой подушку, говорит мама.

И вдруг я услышала позади себя шаги, обернулась — руки так и прилипли к двери: за мной стоял тот же милиционер. Сердце мое так билось, что мне казалось, его стук слышит милиционер. Я знаю, понимаю, мне надо сказать ему: «Мамы нет дома», но всю жизнь во мне воспитывали честность. Я борюсь с собой, колеблюсь, и все-таки на вопрос: «Мама дома?» я тихо ответила:

— Мама в спальне.

Мне никогда не забыть этой душевной борьбы! Он открыл дверь и твердо сказал:

— Теперь я должен вас арестовать.
Я знаю, что сейчас заберут мою маму, как забрали папу, и что я не смогла спасти мамы, сказав «ее нет».
Мама вышла навстречу милиционеру. О чем они говорили, я не слышала. Я упала лицом на кровать и не заплакала, нет, я зарыдала. И рыдала я так, что сердце этого доброго человека не выдержало, и он сказал:
— Я вас не видел! — и закрыл дверь. Мама прижала меня к себе, вытирая мои ручьем льющиеся слезы, а на лоб мне капали крупные мамины слезы.
И дальше все исчезло из памяти. Когда ушла мама, не знаю. С нами остались Володя, Нина и наша мама-крестная. Но недолго мы пожили в бабушкином доме. Володе передали, чтобы через 12 часов нас здесь никого не было. Разрешили взять только вещи мамы-крестной, сиротское приданое и бабушкин кипарисовый сундучок. Даже детских вещей не разрешили взять — только те вещи, которые были на нас. А на мне было легонькое платьице, придерживающееся бантиками на плечах. Меня посадили на подводу, и только мы отъехали, вижу — пожар. Горел дом в Барышникове. Но не это зарево мучило меня потом по ночам в кошмарах, а то, что когда Володя и Семен Федорович грузили на подводу пианино, письменный столик, Нинино приданое и бабушкин кипарисовый сундучок, стеной стояла толпа людей, ожидая нашего отъезда. И только лошадь тронулась, люди ринулись, чуть не сбив подводу, к

бабушкиному дому. Толкая друг друга, сталкиваясь в дверях, женщины, пробивая себе дорогу, оттаскивали друг друга за волосы. Господи, прости этих людей и их детей!

Нас приютили на время в Полевой бабушкины знакомые. Целыми днями, голодные, мы бродили по Полевой, я не отпускала Нинину руку. Никто не знал, где мама, где бабушка. Не имея ничего теплого, я скоро начала кашлять. А Тамара наскочила на грабли пяткой. Как же она страдала от боли!

Наша Нина взяла на свои шестнадцатилетние плечи заботу о всей нашей оставшейся семье. Мама-крестная и Володя работали, и на их заработок мы питались. Мне вспоминается, — одним творогом.

Как-то вечером Нина, взяв меня за руку, куда-то повела тайком, какими-то задворками. Лаяли собаки. Наконец мы пришли к какому-то дому, с черного хода, через какой-то серый коридор в маленькую комнатку.

— Мамочка! — Я упала на мамины колени, задыхаясь от кашля, от счастья и долгой разлуки. — Мамочка, не уходи больше, оставь нас с собой.

— Деточка, успокойся, я буду теперь с вами. Ниночка, доченька моя дорогая, сколько же выпало на твою долю? — вытирая то мое, то Нинино лицо, мама незаметно смахивала и со своего лица слезы.

— Дочечка, — обращалась она к Нине, — я не могу здесь показываться, но ты сходи за девочками, а Володя сдаст по билету в багаж твой сундук и бабушкин, и письменный стол.

— Да, мамочка. — пианино на второй день забрали. Напрасно тетя Лида доказывала, что пианино — ее приданое. Пришли двое мужчин и забрали все.

А ночью поезд увез нас в Харьков. Какие же мытарства ожидали нас на этой земле!

Зато в первые минуты прибытия нашего в Харьков нас ожидала большая радость! Прямо со ступенек вагона меня подхватил на руки мой дорогой папочка. Я обняла его за шею, прижалась к нему, молча, вкладывая в эту встречу всю любовь своего уже раненного жизнью сердечка. Сестры с обеих сторон обняли папу — и тоже без слов. Ни одним словом никто не проговорился, что папа досрочно освобожден из ссылки в Нижнем Тагиле без права жительства на родной земле. Ему разрешили проживать на 41-м километре от Харькова. Но устроиться на работу он нигде не мог. Ему предложили, чтобы получать карточки на семью, рыть канавы для будущего Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Впоследствии директор завода Свистун назначил его кладовщиком. К нашему приезду папа с мамой подыскали в поселке Ново-Покровке кухню, не более 10-12 метров, в которой нам пришлось разместиться ввосьмером.

Потом крестная устроилась учительницей в городе Чугуеве. Володя поступил в гидротехнический институт, Нина — в полиграфический. Им дали общежитие. Но в воскресенье все были вместе.

За полтора года восемь раз наша семья переезжала из одной кухни в другую. Никто не хотел держать в

своем доме такую большую семью. И только когда маму пригласили работать учительницей в Ново-Покровской неполно-средней школе, нам разрешили занять какой-то пустой дом. Мы поняли, что это дом таких же изгнанных из своих стен, как и мы. Дом был большой: четыре большие светлые комнаты, но устроились мы в одной, скорее всего, в кухне. Зима была холодная. Дров не было. Купили кровати папе и маме и одну на двоих Рите и Тамаре, а мне было место на лежанке. Мне на ней было всегда тепло и уютно. Вместо стола был Нинин сундук. Письменный столик крестная забрала в Чугуев, где она тоже работала в школе.

Как-то я стояла на крыльце, а оно выходило прямо на улицу. Я увидела идущего в нашу сторону милиционера и бросилась в дом с криком:

— Папа и мама, прячьтесь, идет милиционер!

Папа подхватил меня, испуганную, на руки и стал успокаивать:

— Людочка, не надо так бояться милиционеров. Нас с мамой здесь никто не тронет. Понимаешь, крошка, у нас больше нечего забрать, дом и тот не наш.

Не знаю, были ли доводы тогда убедительны, но милиционеров я все равно боюсь.

Удивительный был наш папа, сколько в нем было доброты, терпения, терпимости и милосердия. Ежедневно он вставал в 5 утра, физически очень уставал, все продукты — по карточкам, значит, он, как и мы, не был сыт, приезжал в 6 вечера, а то и поз-

же. Он всегда ласково обращался к каждому из нас, интересовался нашими успехами. Помогал маме по дому. Сразу же начинал рубить дрова, всегда топил печку и еще шутил с нами, ни одной жалобы: что он устал, систематически не доедает и не досыпает. Никогда мы не видели, чтобы папа после работы лег на кровать, — только в свое время. Тем более что он понимал, что мама тоже устает: ежедневно работает в две смены. И никаких обид, взаимных упреков мы не знали. Как бы тяжело нам ни жилось — наша семья была крепким якорем в нашей жизни.
В августе мама поехала на конференцию в Чугуев и там заболела брюшным тифом. Папа с утра на работе, а мы, дети, оставлены на волю Божию. За старшую у нас оставалась Тамара. Нина и Володя учились в Харькове. Вечером папа дает указания, что мы должны делать днем. Труднее всего было со мной. В школу рано еще, но директор школы Ксения Степановна, очень интеллигентная, добрая женщина, предложила папе посадить меня в первый класс условно, чтобы я не оставалась одна без присмотра. Тем более в тот голодный год ученикам давали на большой перемене тарелку пшенного кулеша. Папа был очень признателен за такую поддержку. А учительница Елена Петровна договорилась с папой, что меня посадят за последнюю парту: если я устану, могу тихонько выйти из класса.
Сшили мне сестры сумочку, положили в нее тетрадь, карандаш и кусочек хлеба. Я же не столько уставала писать палочки, сколько мне хотелось есть.

И как только Елена Петровна подходила к доске, я нагибалась и понемногу съедала свой кусочек хлеба. А еще меня мучил мой носик: платочек мне забывали положить, и я тоже нагибалась, чтобы подолом платьица вытереть нос. Но вскоре я втянулась в школьную жизнь и ни разу не вышла до звонка из класса.

Как-то Елена Петровна обратилась ко мне:

— Ну, мой аленький цветочек, пора тебе пересесть за первую парту, а то я не вижу тебя и думаю, сороки утащили эту золотистую головку, — Елена Петровна пригладила мои кудряшки. — Ты не устаешь?

— Нет, я все успеваю, — ответила я тихо-тихо.

— А теперь иди домой, скоро твои сестрички будут дома. Я попрощалась и вышла из школы. Но мне совсем не хотелось идти домой, так неуютно там без мамы. Я села на скамейке около дома и стала на ладошку собирать «калачики», или, как еще мы, дети, называли эти маленькие круглые семена какого-то растения, — «копеечки». Наберу несколько «калачиков» — и в рот. Но есть все равно хочется. Как хорошо было в Зорино, как хорошо пел самовар, как смешно было наблюдать за «уродиками» на стенах самовара, и какой вкусный был только что испеченный мамой хлеб! И почему, почему выгнали нас из дома, почему сломали новый дом, почему забрали папу неизвестно куда и неизвестно за что? И почему хотели туда же забрать и маму, и бабушку? И где теперь наша бабуся? Ах, мамочка, как же плохо без тебя! Где ты, моя бабушка, у тебя всегда

для меня в кармане лежало что-нибудь вкусненькое. Как же хорошо жилось мне в Зорино, и никого я не боялась. А теперь мое сердечко всегда трепещет от страха: я боюсь мальчишек, я боюсь взрослых людей, которые ломали наши стены и ломились в дом моей бабушки, я боюсь милиционеров, а теперь еще и боюсь юродивой. Она всегда с большой и толстой палкой в руке. Часто она проходила мимо школы, мальчишки бросали в нее камнями, а юродивая отбивалась палкой и всегда что-то громко проповедовала. А ведь она была совсем молодая и красивая. Лицо белое, брови и глаза черные, и с длинной, до пояса, темной косой. Мне казалось, что она бродит по свету и убивает таких маленьких и беззащитных детей, как я. И страх впивался, как острый шип, в мое маленькое сердце.

Три неизменных спутника сопровождали меня в этой Покровке: голод, одиночество и страх. Я не жаловалась старшим, что мне все время хочется есть, что мне очень холодно в моем летнем платьице, что меня по ночам мучают кошмары, что мне так нужна бабушкина и мамина ласка: ведь все то же испытывали и мои старшие сестры. А у папы и без того было много забот. И я незаметно жила на этой земле, никому не надоедая. Но я знала, что нет ни одного ребенка, ни одного человека, оставленного в горе: на всех смотрит Всевидящее и Вселюбящее Око и посылает ласку и тепло.

Давно уже пришли Тамара и Рита. Они научились варить борщ и перловую кашу. Я жду, когда пой-

ду встречать папу с поезда. Я выходила на Широкую улицу (она действительно была широкая) и медленно шла вниз, вглядываясь, не идет ли папа. Я сразу издалека узнавала его высокую стройную, но очень уставшую фигуру. Всегда он нес одну и ту же ношу. В этот раз папа задерживался. «Наверное, поезд запоздал», — вздохнула я, но все-таки потихоньку шла вперед. И вдруг... на другой стороне улицы я увидела юродивую с той же толстой палкой и сумкой в руках. Как же я испугалась! А вокруг никого. Сердце мое затрепетало, страх сковал ноги. А взгляд мой был прикован к юродивой. Я не поверила своим глазам: красавица-юродивая спокойно манила меня пальцем к себе. Я, сжавшись от страха, медленно пошла к ней. У меня не хватало решимости убежать. И я шла, не отрывая взгляда от юродивой, взгляда смертельного страха и тоски. Руки повисли вдоль худенького тельца. Она уже почти рядом. Моя рыженькая головка покорно опускается в ожидании наказания за всех мальчишек, которые обижали девушку. А сердце так бьется! Вот сейчас... И вдруг легкая рука нежно и ласково опустилась на мою голову. Молча, нежно гладит она меня без единого слова. И все тише и спокойней бьется мое сердце. Так же без слов она подает мне, полуживой от пережитого страха, хлеб. Мои глаза, полные ужаса, встречаются с таким добрым, понимающим взглядом красавицы-юродивой. Сжав крепко хлеб, чуть слышно поблагодарив и не взглянув назад, я перешла улицу в недоумении и в смяте-

нии. И встречаю папу. Он молча берет меня за руку. Он все видел. Он плачет...

Каждый свой выходной папа ездил к маме в Чугуев. Мы ни о чем не выспрашивали папу, мы по его состоянию понимали, что маме плохо. Папа понимал, как плохо его девочкам без мамы и как одинока и заброшена его самая маленькая девочка. Вечерами он полностью свое время посвящал нам. Часто мы вспоминали о Зорино. И каждый спешил сказать свое: «А помнишь?..» Папа хорошо знал Библию и часто рассказывал нам об Иосифе, о Моисее. Иногда читал нам рассказы. Я помню, как мы плакали о мальчике Леве и о его собаке Патронташе.

И наконец папа приехал от мамы с сияющим лицом. Мы поняли — маме лучше. И даже в следующую поездку папа обещал взять меня с собой. Как же я считала дни, как они назло тянулись удивительно медленно.

От станции до Чугуева была длинная дорога, но я мужественно, держась за папину руку, преодолела ее. Немножко папа поднес меня. Маму я не узнала, когда нас с папой ввели в ее палату. Там было четыре стриженых женщины, а мамина кровать была в уголке, и вдруг чьи-то родные, дорогие мне глаза заулыбались.

— Мамочка! Мамочка моя! — от волнения и радости я ничего не могла говорить, а только повторяла все тише и тише: — Мамочка, когда ты вернешься?

Мама смахнула свои слезы и стала вытирать мое заплаканное лицо. Папа отвернулся к окну. Но по-

том, чтобы снять мое волнение, он вдруг обратился к маме:
— А ты знаешь, наша кроха — отличница, даже подарок получила: блокнот и два карандаша.
Мама поцеловала меня и сказала:
— Я всегда знала, что ты умница у меня! — подбадривала она меня.
Но меня нельзя было отвлечь:
— Мамочка, когда ты вернешься домой? Нам всем плохо без тебя: и папе, и Тамаре, и Рите, и мне.
— Я знаю, доченька, но не горюй: врач сказал, что скоро я буду дома.
— Мамочка, а какие у тебя крохотные кудряшки.
— Ничего, отрастут, еще гуще будут.
Надо было уходить, но я никак не могла расстаться с мамой. Мама поцеловала меня, папа поцеловал маму, и мы вышли из палаты. Я молчала. Я вспомнила, что ждет меня дома. Папа, чтобы немножко меня развлечь, завел меня в магазин. Я знала, что у папы нет денег. Но он все-таки купил мне мяч.
— А куклу мы с мамой купим тебе к Рождеству!
Ночью выпал первый снег. Сестры протаптывали мне следы, чтобы я могла пройти в школу в своих туфельках. После уроков я увидела на крыльце школы Володю, он ждал меня. Пока мы сидели в классе, снег еще больше засыпал дорожку. Володя взял мою сумочку в левую руку, а под правую руку, подмышку, взял меня. Голова моя болталась впереди, а ноги — за Володей. Я не сопротивлялась. И вдруг я подняла голову и взглянула на наше крыльцо.

— Мамочка! — закричала я во всю свою мощь и стала вырываться.
На крылечке, покрытая платком, стояла моя мама. Но Володя крепко меня держал: мне не вырваться. Он донес до крылечка, поставил меня:
— Вот теперь ты свободна! Мама, почему вы так рискуете, никуда этот Чижик не улетит, — он обнял маму, а другой рукой меня, и мы зашли в дом.
Другим счастливым событием был приезд бабушки. Ведь мы ее не видели с момента ареста папы, хотя она изредка присылала письма в Покровку. Она опять скиталась по людям. Когда я узнала, что бабушка рано утром приедет к нам, я не могла уснуть. Господи, как же я любила бабушку с раннего детства! И только скрипнула дверь, я тут же проснулась. Если бы это было в Зорино, я тут же соскочила бы с кровати и бросилась бы обнимать бабушку. Но теперь я знала, что значит приехать, да еще пройти длинную дорогу от станции до нашего дома. Я лежала тихо-тихо, никого не беспокоя. Но бабушка увидела мой выглядывающий из-под одеяла глаз, тихонечко подошла, перекрестила меня и поцеловала.
Но какой это был тяжелый год на Украине! Самый страшный голод, какой только перенесли люди. Таким варварским способом — искусственным голодом — выкачивали золото. Мы остались живы ценой двух венчальных колец папы и мамы, маминых сережек и одной броши. За это папа получил пшеничные и ржаные отруби, перловки и два литра ры-

бьего жира. Основная наша кормилица была мама: учителям тогда повысили зарплату.

Когда я приходила из школы, часто меня встречала бабушка, мы с ней садились у окна и смотрели, как сплошной линией тянулись похоронные процессии. Папин паек был как капля в море.

Мы все были голодные, но не опухали и остались живы. А бабушка свой кусочек хлеба тайком относила одинокой старушке Комаровой и всем, чем могла, делилась с ней: и так спасла жизнь ей.

Никто из нас никому не рассказывал о бабушке, но известие о ее чудодейственной силе быстро разлеталось по городам и весям. Однажды за бабушкой приехал полковник милиции, чтобы отвезти ее к себе: его шестилетний сын не ходил с детства. Сестры незаметно увели меня из дома, потому что при виде милиционеров со мной случался шок. А сын полковника после бабушкиной молитвы стал ходить. Каждый год потом эта семья приезжала в Зорино. Мальчик всегда садился на скамеечке у бабушкиных ног, обнимал их и с любовью повторял: «Моя бабушка, моя дорогая бабушка».

Тяжело было нам расставаться с бабушкой, но она не могла жить без церкви и икон. И весной мы со слезами проводили ее в Курск.

Училась я охотно, очень любила рисовать и читать, а вот с арифметикой у меня получился конфуз. Как это так? Вчера 2+3 было 5, а сегодня 2х3 стало 6. Мама, видя меня такую озадаченную, разложила передо мной 2 карандаша и 3 карандаша, а рядом 3

раза по 2 карандаша. Больше у меня недоразумений с науками не было. Я любила все новое и все быстро схватывала. Учиться было для меня радостью. Бабушкиными молитвами и молитвами святого Сергия Радонежского (ведь я родилась 18 июля, в день перенесения его мощей) я всегда училась только на пятерки. Я всегда садилась за первую парту, чтобы можно было хорошо слышать и видеть объяснения учителя, чтобы никто и ничто меня не отвлекало. Всегда старалась помочь тем, кому учеба давалась с трудом. С умненькой девочкой Олей Переверзевой я дружила почти с первого класса. Хотя я очень любила быть больше дома: читала или играла с куклами у мамы под письменным столом. Обшивая кукол, я научилась шить.

А вообще вся жизнь в Покровке показалась мне одним серым, скучным, полуголодным днем. Я часто садилась на скамеечку около дома и вспоминала Зорино: и наш дом, и наш сад, и овраг, с которого мы, разбросав руки в стороны, будто слетали вниз, и нашу прозрачную речку, и бабушкину кухню с ее скамейкой, и наш лужок напротив дома с ольховым лесом, где всегда росли замечательные, очень ароматные цветы, и пение соловьев, и прогулки в лес, и чудесное озеро с березами. И так тосковала моя детская душа о всех милых сердцу местах!

И вдруг бабушка прислала письмо, что ей разрешили построить домик в Зорино. Священник Михаил из села Бунино и его псаломщик Максим помогли в постройке, они поставили сруб.

Для начала была сделана только кухонька, где бабушка и жила. А насчет всего дома бабушка сказала: «Сыночку пригодится».

Отец Михаил
из церкви д. Бунино

И вот на лето 1939 года нас с Тамарой отправили к бабушке в Зорино, как я обрадовалась! Мама нас проводила, устроила в вагоне и никак не хотела оставлять нас одних. Хотя Тамаре было уже 17 лет. Всю дорогу я стояла у окна.

Меня радовали и станции, и люди, и поля, и перелески. Чувство молодости, чувство радости изведать неизведанное, а главное, радость встречи с бабушкой, милым моему сердцу Зорино, всю дорогу пели и ликовали в моей душе.

Как радовалась нашему приезду бабушка!

— Да, внучечки мои приехали, — делилась она своей радостью со всеми знакомыми. Ведь и ее душа истомилась от разлуки с родными, любимыми ею и любящими ее.

Мы приехали рано утром. Накормив нас, бабушка

Тамара и Володя.
1940 г.

постелила нам постель в коридоре.

— А то в кухне вам не дадут поспать люди.

Положила подушку на двоих одну, и мы уже почти заснули. Тамара сразу заснула, а я сквозь дрему слышу, бабушка разговаривает, а голос мужской. Бабушка благословляет и так ласково прощается, а мужской голос все благодарит бабушку. Я открыла глаза, бабушка уже закрывала дверь.

— Бабушка, кто это был?

— Нищего покормила, и он пошел своей дорогой. Спи, спи, внученька. Рано еще!

— Она перекрестила меня, и мне стало так уютно, так спокойно, я почувствовала себя защищенной и крепко заснула.

Бабушке мы сразу передали папину просьбу: ему от Харьковского завода выделили участок под застройку, и папа просит бабушкиного благословения на строительство дома. Сразу нам бабушка ничего не сказала.

Здесь, в Зорино, я точно парила в воздухе. Куда только я не пробиралась: и в овраг, и на речку, и в

ольховый лес, рвала бабушке цветы и ставила перед иконами, а вот озера и белокурых берез не нашла.
— Вырубили их люди, а озеро затянулось травой, а потом и вовсе высохло, — так объяснила мне Прасковья Ивановна. А она без конца нас с Тамарой приглашала то молочка выпить, то сметанки съесть. Как же мне было в Зорино хорошо! Но Тамаре нужно было обязательно вернуться в Харьков: она как-то скучала и рвалась в Покровку.
Бабушка свозила нас в Курск, мы причастились, посетили всех знакомых, но город меня не притягивал, я рвалась в Зорино.
В жару мы расстилали одеяло на травке и читали. Только ляжем — бабушка:
— Внученьки, вот я вам несу пирог. Или:
— Внученьки, идите, я вам суп сварила.
Мы обнимаем бабушку, принимаем все угощения, ведь она знала, как голодно было в Харькове.
— А тебе, внучечка, молочка в печке согрела.
Как же любила нас бабушка! И как я просила бабушку оставить меня одну, раз Тамаре необходимо уехать, но бабушка не согласилась. Я со слезами расставалась со своим дорогим Зорино. А на прощание бабушка просила передать папе: «А сыночку передайте: воли не отнимаю, а совета строиться не даю. А построится — никто в доме жить не будет. Скоро вы все сюда приедете. И церкви откроются, и монастыри!»
Дом папа не начал строить, а жили мы на заводском участке во флигеле, в основном я и папа. Нина с

Володей жили в институтских общежитиях, Тамара днем работала чертежницей, а вечером училась на рабфаке. Рита жила в Курске, ей не давался украинский язык. Семья раскололась. Теперь я успевала и хорошо учиться, и все выполнять по дому, а в конце дня ездила из Харькова проведать маму в Покровку. Вечером мы с папой обсуждали наши текущие расходы и намечали новые.

Как-то мы втроем — папа, Тамара и я — договорились вечером в субботу поехать к маме в Покровку. Приезжаем. Знаем, что мама нас ждет. Заходим. Дом на замке. И никакого даже намека, что мама где-то поблизости. Бежит к нам соседка Попова, взволнованная, и прямо к папе:

— Матвей Васильевич, Александру Афанасьевну в 3 часа дня увез «черный ворон».

Я не знаю, как выдержало папино сердце. Он не побелел, он посерел. Мы с Тамарой заплакали от отчаяния. Папа растерялся:

— Куда увезли? В Чугуев? В Харьков?

— Никто ничего не сказал, посадили и увезли.

Папа открыл дверь, мы вошли в дом. Все на месте. Ничего не искали: ничего не разбросано. Никакой записки. Папа нас успокаивает, а сам думает: «Значит, очередь за мной. Люду надо отправить к бабушке, Тамара работает». Он то выйдет, походит около дома, то вновь зайдет. Было уже около 10 часов вечера. Теперь мы с Тамарой стали успокаивать папу:

— Может быть, это ошибка, ведь они всегда что-то ищут, все разбрасывают, прежде чем арестовать.

Но наши доводы были неубедительны ни для папы, ни для нас самих. Сердце разрывалось от неизвестности и боли. Что переживал наш папа? И вдруг в 11 часов ночи наш домик осветился фарами машины. Мы замерли. И каждый подумал: «За папой». Папа поцеловал Тамару:

— Отвези Люду к бабушке, а сама продолжай, если не тронут, учиться и работать.

И тут открывается дверь, и на пороге стоит НКВДист с мешком и трехлитровой бутылкой масла в руках.

— Принимай, хозяин: в мешке семечки, а в бутылке подсолнечное масло. Кушайте на здоровье!

Это надо было видеть: нас с Тамарой, ошалевших, с обалдевшими глазами, с открытыми ртами, а папа, мне казалось, сейчас потеряет сознание. И тут следом заходит мама и тоже в руках неполный мешок с чем-то.

— До свидания! В три часа дня во вторник и в субботу буду ждать около дома, — и ушел.

Мы бросились к маме, а папа медленно садился на стул, будто не веря своим глазам, а затем подскочил и бросился к маме — и заплакал. Все, что он пережил, прорвалось наружу. Вид у мамы тоже был далеко не концертный: она сама едва держалась на ногах.

Видите ли, КГБ потребовался опытный учитель русского языка, и они так бесцеремонно «пригласили» маму, не объяснив, не предупредив родных. Что им до наших чувств! Взяли и повезли! Вот и все! Слава Богу, все закончилось благополучно. А

наши душевные травмы никого не беспокоят!
А до войны оставались считанные дни!
Мама получила отпуск, и мы вместе с ней приводили в порядок наш флигелек. Вместе с папой посадили три яблони и одну грушу. Все равно строить дом папа теперь не собирался. Вокруг была зеленая-зеленая трава. Я ложилась в траву на спину и будто утопала в этой беспредельной голубизне. И чувство такого счастья окутывало меня, такого небесного покоя, что все прошлое и настоящее уплывало от меня. Это тоже была моя тайна!
Война! Всё перевернулось с ног на голову. Володю забрали в армию, маму отправили под Сумы рыть противотанковые рвы, папа с Тамарой и ночь, и день работали на заводе ХТЗ, Рита была в Курске, Нина тоже где-то копала эти ненужные рвы. Одна я и пес Лорд на хозяйстве. Почти каждый день раздавалось по радио: «Воздушная тревога!» Вначале обходилось только тревожным ожиданием, но чем ближе подходил фронт, тем страшнее становились тревоги. Эти ленты на окнах, этот ночной мертвый черный город. И, наконец, бомбежка! Не успели мы прослушать сигнал тревоги, как посыпались бомбы, почти рядом бомбили аэродром. Такое жуткое состояние от звука «ноющих» бомб. Наш Лорд примчался в комнату и забился под стул, на котором сидел папа. Мы никто не успели сдвинуться с места и только бледные, оцепеневшие ждали любого конца.
Закончила Рита десять классов в Курске и вернулась в Харьков. Папа сначала не одобрил ее при-

езд, а потом решил, что это выход: отправить меня с Ритой к бабушке в Зорино. Вот тут-то мы и вспомнили бабушкины слова о том, что недостроенный дом сыночку пригодится, и скоро все приедем в Зорино. Казалось тогда, что может нас заставить вернуться туда, откуда нас выгнали? Оказывается вот что: война!

Бомбежки продолжались. Сборы были быстрые, даже не продумали, что нужно взять; думали, что война не будет продолжительной. Взяли только необходимую смену белья; в общем, наш багаж втиснулся в портфель каждой из нас. Проводил нас папа. На Москву было уехать легко. Все рвались на восток. Что творилось на вокзале! Сколько евреев, их семьи все спешили уехать.

Спокойно устроились мы в поезде «Харьков — Москва», нижние полки, пассажиров мало, но не дали нам спокойно доехать до Курска. Под Казачьей Лопанью наш поезд расстреляли в упор немецкие самолеты. Не помню, в какой панике сестра вытолкнула меня из окна вагона с криком: «Убегай от вагона», и я как сумасшедшая помчалась в поле. А немец все стрелял и стрелял, а затем налетели другие и начали сбрасывать бомбы. Крики, стрельба, взрывы. Где я? Где Рита? Кричать бесполезно. Сколько это длилось — трудно вспомнить, но когда все стихло, самолеты улетели, смотрю — поезд, паровоз изуродованы, но я все-таки решила подойти к своему вагону и вижу около вагона Риту. Она ждала меня:

— Быстро от поезда, они прилетят опять; немцы заметили, что половина состава были военные.

Не помню, как мы бежали, ободранные, грязные, у меня с левой руки текла кровь, но уже не до этого было. Не знаю, до какой станции мы дошли, — было уже светло. И отправлялся местный поезд в Курск.

Шапочка святого Митрофания и камушек с места, где, по преданию, крестился Спаситель, привезенные старицей Мисаилой со Святой Земли

Когда постучали в дверь бабушкиного домика и услышали ее голос: «Сейчас», мы поверили, что мы дома.

— Господи, откуда вы, что это с вами, внучечки мои ненаглядные, да вас будто выписали из больницы. — Бабушка не знала, чем нас накормить, где нас уложить.

На другое утро бабушка прочитала над нами «Да воскреснет Бог» и положила каждой из нас камушек и шапочку святого из Иерусалима: на четырех сторонах этой шапочки были изображены Пресвятая Богородица, преподобный Антоний, святой Митрофан Воронежский и святая мученица Варвара. Камушек и шапочку святого бабушка получила на Святой Земле от незнакомого монаха.

А было это так. На Крещение Господне, во время освящения воды в реке Иордан, бабушка стояла позади всех, и к ней подошел монах. Он подал ей камушек с того места, где, по преданию, стоял Сам Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, когда принимал Крещение от Иоанна Предтечи. Еще монах подал шапочку святого и сказал: «Возьми: тебе это пригодится». Бабушка привезла камушек и шапочку к себе домой, в Зорино, и они всегда лежали в святом углу в ее кухоньке, где она принимала людей. И сейчас она нас благословила этими святынями. Мы, конечно, нуждались в поддержке, потому что были испуганы, измучены, усталые. Но молодость побеждает все невзгоды!

Окошко бабушкиной кухоньки

Хорошо было с бабушкой! Тихо мерцали лампады, а мы с Ритой устроились: она на лежанке, а я с бабушкой на печке. Как спокойно, только болит душа: что с мамой? где она? как там папа с Тамарой, не разбомбил ли их немец? Но с нами бабушка: «Все живы,

все будут здесь, не волнуйтесь». Хорошо-то как с бабушкой, тишина, только потрескивают лампады, да лики святых с двух углов смотрят на нас и посылают покой в наши детские сердца. В правом углу у нее была икона Спасителя, в левом — икона Божией Матери «Знамение», рядом — «Успение Божией Матери», которую она тоже привезла из Иерусалима, иконы Иоасафа Белгородского и Николая Чудотворца.

Мы не знаем, где немцы, а бабушка сидит на своей скамеечке и говорит:

Иконы в левом углу кухоньки

— Придет немец в Курск, а Курская область будет границей, а все равно: как придут, так и уйдут...

— Бабушка, миленькая, ведь все говорят, что мы будем бить немца на его земле.

— Не моя воля, внучечка, воля Божия!

Ночи становились длиннее, осыпались уже все листья с деревьев, засохла трава. Все холоднее и холоднее в нашей кухоньке. Идет зима, а дров у бабушки ни полена. Рита с бабушкиной знакомой ушли в город пешком, а мы с бабушкой вдвоем замерзаем. Я пойду к Прасковье Ивановне на

огород, наломаю сухого бурьяна, принесу бабушке, а он, как спичка — чирк, и нет тепла ни в кухоньке, ни на печке. Принес нам сосед Семен Федорович вязанку дров, то-то радость была у нас с бабушкой! Сидим, как прежде, любуемся на огонь. Вдруг входит какой-то военный и строго предупреждает, чтобы мы ушли из деревни: здесь будет проходить линия фронта. Я выскочила во двор: в саду закапывают пушки, кругом военные. Я к бабушке — что же нам делать, куда нам идти? А бабушка подкладывает дрова в печь и спокойно:

— А никуда нам идти не надо, сегодня ночью наши части отступят.

А ночью я проснулась от грохота. Ну, думаю, началось наступление. А это, оказывается, отступали наши части к Солнцево.

Иконы в правом углу кухоньки

Наконец Рита пришла из Курска с бабушкиной знакомой, спилили ольховое дерево, покололи и сложили в бабушкин сарай.

А людей к бабушке с каждым днем все больше и не только с окрестных деревень, но из Курска, Обояни, Белгорода, да откуда только люди ни шли со своим горем, со своей печалью. Нам с Ритой было место или сидеть на печке, или на дворе. А там мороз трескучий. Вот и сидим целыми днями, как два скворца в скворечнике. Я очень заскучала о маме, о папе, потихонечку зайду в недостроенный дом и плачу, чтобы бабушку не расстраивать. А один раз она меня там случайно застала:

— Ну, что ты, внучечка, плачешь? Ты в тепле, не голодная.

— Я скучаю о маме, о папе!

— Да идут они сюда уже трое. — А кто, не уточнила. Я успокоилась. Жду. Нет никого. И вдруг приходит мама одна. Оказывается, вышли они трое: мама, папа и Нина. Дошли до Белгорода, а у папы отнялись ноги, его посадили на саночки, и они с Ниной вернулись в Харьков, а мамочка пошла одна.

Бедная мамочка, голодная, одинокая, поддерживаемая одной мыслью: дойти до Зорино и вовремя вернуться спасти папу и дочек. Мороз был страшный, и какой-то немец снял с маминых рук вязаные шерстяные рукавички. Яркое солнце слепило глаза, у мамы ухудшилось зрение. Добрые люди дали ей на руки какие-то рваные шерстяные чулки и этим спасли ей руки. И пришла наша мамочка чуть живая. Как только шли ее ножки!

У бабушки она немножко отдохнула, чуть окрепла и опять одна повезла на саночках пшено и гречневую

крупу в Харьков. Господь хранил ее, она привезла все благополучно и спасла от голодной смерти всю семью. И потом уже все вместе пришли в Зорино. Только нас с Ритой они уже не застали.

Глава 3
ГЕРМАНИЯ

Как-то еще до войны теплым летним вечером бабушка позвала нас с сестрой Ритой полюбоваться звездным небом, а потом неожиданно сказала:

— Ты, Рита, будешь по природе кем-то, а ты, Люда, побываешь и в Крыму, и в Риму.

Я спросила:

— И за границу поеду?

— Да, — ответила бабушка, — только не путешествовать, а работать.

А еще трижды, в разное время, бабушка мне говорила:

— Хорошая была бы монахиня.

Я каждый раз удивлялась. Тем более в те времена закрывались и церкви, и монастыри. Только потом я поняла, почему она так говорила. Она просто не хотела меня лишать веры в счастливую судьбу. Когда немцы заняли Курск, они стали угонять русских людей на работы в Германию. За меня родные не волновались, потому что я была еще несовершеннолетней. Сестра Рита убежала от Германии в Воронеж, потом в Харьков, поступила там в институт и стала работником «по природе» — метеорологом. А меня отправили в Германию: никто даже не предполагал, что меня могут забрать, и я не спряталась. Без вещей, без документов я оказалась с тысячами

других девушек почти ребенком 14 лет, как маленькая рыбка в общей сети. И привезли меня в Бремен. Этот большой, красивый портовый город встретил нас неприветливо — проливным дождем. Везли нас в трамваях ночью, без остановок, через весь город на окраину к огромному авиационному заводу и примыкающей к нему деревообрабатывающей фабрике. Нас ждала не гостиница, а угрюмый, серый барачный лагерь за колючей проволокой в два ряда. Ни деревца, ни кустика! Измученные, усталые, молчаливые, молча зашли мы «по три» в это каторжное жилище.

В каждом бараке 10 комнат по 24 койки в каждой. Встретила нас Schwester Enni (Schwester Enni - сестра Энни (нем.) — вся в белом. А на груди вместо креста на цепочке — огромный стальной мужской перстень: «Это перстень моего жениха, он в России».

Прежде всего она объявила нам распорядок дня. Подъем в 5 часов утра, утром чашка кофе, днем суп брюквенный, вечером 250 граммов хлеба (какого-то эрзаца), две чайные ложки сахара.

Я заняла место на верхней полке кровати, внизу мне не нравилось: казалось, как в ящике. На ужин нам дали 250 граммов хлеба и кружку кофе. Проглотив этот ужин, я забралась на свою кровать с соломенным матрацем и только легла — тревога! Бежать некуда. Дверь на замке, на окнах решетки. Я завернулась в одеяло с головой и тихонечко заплакала, мысленно обращаясь к мамочке, но потом я твердо

сказала себе: «Возьми себя в руки, тебе долго придется терпеть, и никому твои слезы не нужны, их каждому достанется вдоволь».

Сначала меня направили на кухню картошку чистить, но через несколько месяцев приехали немки-беженки и нас перевели в разные места. Я попала на деревообрабатывающую фабрику «Miltenberg und Kriete». Мастер — старенький дедушка, «Опа» (Opa—дедушка (нем.), научил меня связывать морским узлом листы высушенного дерева. Работа нетрудная. Одна в огромном цехе: впереди сушильная печь, слева такая же. Мне хорошо, что я одна. Я никого не хочу видеть и никого не вижу. Только воспоминания волна за волной захлестывают мою душу. Тут и хорошее, и тяжелое, и обидное, и одинокое. И я дала волю своим слезам. Никого нет. Как же я выливала из глубины своей души все, что накопилось за мою небольшую жизнь! Я молилась и плакала горько, не сдерживая слез, а они градом текли по моему лицу. Меня не смущало, что кто-то увидит меня, услышит. Это была моя жизнь, мне было больно, но к этой боли я никого не допустила бы дотронуться. Я жалела себя, я жалела своих родных, которые переживали за меня. Это была громкая детская жалоба Господу. Я делилась с Ним, и мне не было никакого дела до тех людей, которые вдруг появились в цехе. Это были французы. Они застыли на месте, увидев плачущую девочку всю в золотых локонах, в белой кофточке и ярком сарафанчике. Три пары глаз молча уставились на меня. Но для меня они не существо-

вали, я даже не считала их помехой в моем рассказе о себе Богу. Они резко повернулись и ушли назад. Только спросили русскую девушку Надю, уже давно работающую здесь, что это за девочка и отчего она так горько плачет.

— Она скучает о Родине, — что могла еще сказать Надя, черноглазая, милая девушка.

Здесь работали пять девушек, а я стала шестой. Очень скромная, тихая Натка, Любаша, которую все время надо было разыскивать, потому что она забивалась куда-нибудь и беззаботно, сидя на корточках, спала. Очень справедливая, здоровая, крепкая девушка Ксения. Она почему-то сразу решила меня защищать, хотя меня никто не обижал. И очень заносчивая, самолюбивая, белокурая Дуся.

Жизнь продолжалась тяжелая, голодная, холодная. Я не только перестала смеяться — я редко улыбалась. Я замкнулась. Ни с кем не делилась, никому не жаловалась, что мне не по годам выстаивать 12 часов голодной, полусонной. А кому скажешь? Они тоже устают, хоть и старше меня. Я знала, там, в Зорино, молятся за меня бабушка, мама, папа и мои сестры.

К машине все время подвозили тележки с сырыми листьями только что распиленных досок. Они были теплые, и от них шел пар. От этого пара в холодном помещении трескалась на руках кожа. Я не замечала, кто из французов подвозит тележку, все были разные: и Тони, и Пьер, и другие. Но потом я заметила: регулярно стал привозить тележку Жак. Он

не только подвозил, но и все время старался помочь. Я не вступала ни с кем в разговоры. Только после того, как Жак обратился ко мне: «Люда, не печалься: ваша армия подходит к Познани», — я стала при встрече задавать один вопрос: «Жак, что нового?». Иногда во время тревоги отключали сушильную машину, и мы забирались внутрь и на бракованных листах устраивались до окончания тревоги.

Шеф фабрики дал мне задание: перед работой заходить к нему в кабинет и получать указания на день. Ровно в 6 часов утра я уже стучала в его кабинет и на «Herein» (Herein — войдите (нем.) — входила, приветствовала с добрым утром, молча выслушивала указания, спрашивала: «Все?» — «Да». — «Хорошо», — и уходила.

Но что меня, девочку, удивляло, что он никогда не давал мне задания сидя. Он всегда стоял у окна. Однажды шеф увидел мои руки, все в ранках: «Пойдем со мной». Он привел меня в контору и попросил обработать мои руки.

Бабушкины молитвы помогали мне, я знала это. Стоило только мне выйти из цеха, ко мне подходил пожилой немец Франц: спросит, как мои дела, а в карман положит приготовленный бутерброд. Иногда он тоже помогал мне в работе, любил со мной поговорить. Он рассказал, что просидел долго в концлагере и получил туберкулез костей ног. И все говорил: «Нам, немцам, не нужен ни Гитлер, ни Сталин». А потом он не появлялся. Узнавать у немцев о нем я не могла.

К нам на фабрику привозили наш обед — суп из маринованной брюквы. Вот уж кушанье — нарочно не придумаешь. Как же мы ждали вечера: получить 250 граммов хлеба и кружку желудевого кофе и скорее спать! Ни разговоры девушек, ни электрический свет, — ничто мне не мешало тут же уснуть. Друг Жака Эмиль меня спросил:

— Люда, что ты будешь делать дома, когда вернешься на Родину?

— Спать, — ответила я.

Это был хороший человек — француз со славянской внешностью, белокурый, голубоглазый, курносый, с полными губами, высокий, широкоплечий. Посмотришь на этого человека и думаешь: наверное, это результат победы наших войск над Наполеоном и пребывания нашей армии в Париже. И добр он был по-русски. Обязательно, улыбаясь, угостит яблоком или плиткой шоколада. И всегда с улыбкой. Мне с ним было легко, как с хорошим товарищем. Жака я немножечко стеснялась, это был человек высшей касты: всегда подтянут, строен, строг взглядом, оценивающим человека полно и точно. Еще бы: успел окончить два университета, побывать в Швейцарии и попал в плен офицером, категорически отказавшись вступать в ряды немецкой армии вместе со своей частью. Их было на фабрике 32 француза. Это был благородный аристократ. Мне было уже 16 лет, Эмилю — 24, а Жаку — 26. Но эти два француза нравились мне оба.

В одну из воздушных тревог я решила забраться в

машину, ко мне подошел Жак:
— Ты идешь в убежище?
— Нет, Жак, я пойду погреться в печь.
Но он уже сел на тележку и подал руку, чтобы я села рядом. Я устроилась около него. До этого мы не вели с ним бесед: все новости сообщались на ходу. На этот раз Жак незаметно втянул меня в разговор, рассказывая о себе, что он единственный сын, что он очень любит своих родителей, что он живет в городе около Бельгии, и незаметно узнал, какая у меня семья. Я первому человеку в Германии приоткрыла свою любовь к бабушке, маме, папе и рассказала, какие они у меня необыкновенные.
— Это я понял по тебе: ты так отличаешься от своих русских девушек.
Я поблагодарила и добавила, что все они очень замечательные и что они лучше меня. Он улыбнулся. Потом, между прочим, достал из кармана мягкие, гарусной шерсти, серые перчатки и сказал:
— Вот, мама прислала мне перчатки, а они мне даже пальцы не закрывают. Померь ты, Люда!
Я легко натянула их и всплеснула руками:
— Какие тепленькие! — и даже улыбнулась. Он посмотрел на меня:
— Носи их, Люда, на работе, чтобы твои руки так не болели.
Я быстро стянула перчатки и, поблагодарив, положила их ему на колени:
— Нет, нет! Я не возьму!
— Ну, тогда я их должен выбросить. Ты меня,

Люда, обижаешь, я тебе как товарищ помогаю, для работы.

— Прости меня, Жак! Я не хотела тебя обидеть. Просто подарки я привыкла получать от своих родных.

— Милая моя девочка!

Тут дали отбой, и все разошлись по своим рабочим местам.

Все чаще и чаще стала гудеть тревога не только днем, но и ночью. Все тяжелее и тяжелее было нам, почти детям, стоять по 12 часов у машины, а ночи без сна.

Я все больше и больше молилась, уходила за барак и долго-долго читала свои детские молитвы. Я ничего не просила у Бога, только молилась, чтобы скорее кончилась война и все мои родные были живы, для себя я ничего не просила. Читала «Богородице Дево, радуйся», как учила меня бабушка: «Страшно тебе, тяжело, читай Ей, Милостивой, Она все поймет, что тебе надо, и Иисусову молитву читай». Я молилась в постели перед сном, по дороге на работу, и мне было легче. И Господь не оставлял меня, главное — бабушкиными молитвами. Голодно было, холодно, тяжело работать, но Господь послал нас, шесть девочек, на тихое место, где немцев было всего три человека: шеф, Опа и Ома (Ора и Oma — дедушка и бабушка (нем.), оба старенькие, мы их почти не видели, а остальные — иностранные пленные: французы и итальянцы. И девочки подобрались скромные, никто не позорил своего имени.

И поэтому относились к нам с уважением, с товарищеской любовью.

Помню, перед Новым годом рабочий день закончился в 2 часа дня. Мы, девочки, поднимались по лестнице в свою комнатушку, где мы обедали, если было что, и переодевались зимой. Вдруг к нам подошел военнопленный итальянец:

— Девочки, у меня нет никакого подарка для вас к Новому году, но я артист Римского оперного театра, я подарю вам песню.

Мы застыли на лестнице. И он запел. Как же он пел «Мамо»! Его нежный, сильный тенор звучал так, будто звенела и плакала его душа. Ласка, любовь, нежность, душевное тепло — все слилось в этом голосе и окутало нас такой волной тоски, грусти, любви, что мы все, не стесняясь, зарыдали. А по цеху разливалось тихо и нежно: «Ма-а-мо». Мы не понимали итальянского языка, но слово «мама» открыло нам всю красоту этой песни.

И чтобы нас успокоить, он тут же запел что-то веселое и радостное, улыбаясь и пританцовывая, даже сумел нас рассмешить, хотя на глазах наших блестели слезы.

У самого выхода из цеха подошел ко мне Эмиль и тепло поздравил с Новым годом, пожелав нам как можно скорее вернуться на Родину. Он преподнес мне коробочку из-под лампочек, заполненную шоколадом. Я поблагодарила его, извинилась, что ничем не могу его порадовать, но поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку, как целовала брата и сестер. Он был тронут.

А всю ночь нас поздравляли английские летчики, поздравляли долго и горячо, сначала сыпались бомбы, а потом посыпался фосфор. Это страшное зрелище, кто его пережил, — не забыть никогда.

Обед после Нового года нам перестали привозить на фабрику, и мы должны были за час сходить в лагерь, получить миску супа с маринованной брюквой и вернуться на фабрику. Есть этот суп было невозможно, один запах вызывал дурноту, но мы были довольны, что за этот час мы могли в банном бараке постирать спокойно, а не толпиться, как по вечерам за тазиком.

В этот день мы с Дусей пришли постирать белье. Только начали стирать, завыла сирена. Тревога!

— Может, обойдется без бомбежки, давай достираем, — предложила Дуся.

Мы остались в этом бараке. И тут начался настоящий ад! Небо было черное от самолетов, от гула моторов тряслась земля, дрожал, казалось, воздух. Напрасно мы хотели сказать что-то друг другу. Мы были похожи на глухонемых. В окно мы видели, как один за другим самолеты поворачивают набок и из них сыплются бомбы. Ведь наш лагерь был рядом с железнодорожным вокзалом.

Только по нашим губам можно было понять: «Господи, спаси, Господи, помилуй!» Молитва, может быть, доходила до Бога, но звуки растворялись в этом кромешном грохоте, гуле, взрывах. Мы только поднимались и приседали, а руки бессознательно терли белье. И вдруг сквозь этот чудовищный гро-

хот раздался такой взрыв, что, казалось, взорвалось само небо. Мы с Дусей присели под умывальный таз, как будто в этом было спасенье.

Пятьдесят минут сыпались и рвались бомбы, все гудело, тряслась земля. Сначала был какой-то нечеловеческий страх, а затем отупение, и только одна мысль — «Этому не будет конца!» И когда все утихло, мы с Дусей стояли живые, но какие-то оглушенные — зато с выстиранным бельем. Но рассказать, как в этом аду мы стирали, мы не могли, были просто в шоке.

Мы вышли из нашего «убежища» и ахнули: рядом с нашим бараком, во весь двор, была огромная воронка, и все кругом было засыпано глиной. Господь сохранил всех несчастных узников, не повредив ни одного стекла в бараке: лагерь стоял на болотистой земле. Отбоя не было, но мы должны были вернуться на фабрику. Когда мы отошли от ворот нашего лагеря, мы не поверили своим глазам. Ни вокзала, ни домов не осталось, груды кирпича и одна уцелевшая кирха (Кирха — лютеранский храм (нем.), куда уже сносили то ли раненых, то ли убитых. Я помню, несли молодую белокурую немку, а на груди у нее лежал малыш 2-3 лет, и головы их качались в ритм шагов носильщиков. Кому несет горе война? Простым людям. Чуть живые, мы пришли на фабрику. Отбоя не было.

Я предупредила Ксению и забралась в машину, согнулась калачиком, измученная, как и все, этим ужасом, лежала и думала, что это по молитвам моей

бабушки мы остались все живы и невредимы. Ведь наш лагерь был всего в 500 метрах от железной дороги. Я тихонько лежала и благодарила Господа. Вдруг слышу встревоженный голос Жака:
— Ксения, а где же Люда?
— Она в машине.
— Сейчас ее будут подключать!
Я чувствовала и даже видела, как быстро прибежал Жак, но я так устала, что мне не хотелось шевелиться, не хотелось говорить ни с кем, даже с Жаком. Он молча подхватил меня на руки и понес к выходу. Уже у самых дверей я открыла глаза:
— Жак, ты?
— Сейчас включат машину.
Он поставил меня на ноги и быстро убежал. В этот день мы больше не работали. В душе каждого был траур, какая-то печаль.
Я знала: все обо мне молятся и особенно бабушка, я молюсь сама и прошу за всех, чтобы кончилось это чудовищное побоище. И как-то пришла с работы, сразу забралась на свою постель и тут же заснула. И снится мне, что кто-то, я не вижу кто, снимает пелену с моих глаз. Я проснулась, и как же мне было легко, каким светлым и радостным показался мне весь мир. С меня свалился страх, на душе было спокойно, легко — на душе была тишина. Я перестала бояться бомбежек.
Я даже не заметила, что ко мне перестал подвозить тележку Жак. Только один раз увидела, как он перебегал цех.

— Ксения, что случилось с Жаком? Я его чем-то обидела?
— Люда, Люда, неужели ты не видишь, что тебя полюбили два самых лучших человека: Жак и Эмиль.
— Ксения, милая, я знаю, что они оба прекрасные люди, но я, наверное, плохая, я не могу сейчас любить никого. Я все время, как и все, хочу есть, я хочу спать, я хочу отдохнуть. Может быть, по-своему я их тоже люблю. Кончится война, они и не вспомнят обо мне.
Я давно замечаю, что они оба уделяют мне внимания больше всех. Перед Новым годом я, как всегда, зашла к шефу. Возвращаюсь одна, темно, и вдруг мне навстречу Эмиль:
— Люда, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю следующий день рождения встретить на Родине.
Он подает мне какой-то сверток и исчезает. Я в недоумении. Какой день рождения, когда я родилась 18 июля. Поднимаюсь в свою комнатушку, все девочки на месте, кроме Ксении.
— Объясните мне, девочки, откуда Эмиль взял, что у меня сегодня день рождения?
— Это я ему сказала, — спокойно ответила Дуся.
— Зачем? Зачем, Дуся? Что мне теперь делать? Сказать, что ты пошутила, в каком он окажется положении, принять за действительность — он подумает, что это по моей просьбе ты его предупредила?
Все девочки стали заставлять Дусю извиниться перед Эмилем.
— Нет, девочки, нельзя так оскорбить Эмиля. Что

у него останется на душе? Вы подумали об этом? — остановила всех Надя.

И вдруг явилась Ксения с синеньким мешочком в красненьких сердечках.

— Люда, тебя Жак поздравляет с днем рождения, но так как он узнал поздно, передает печенье, чтобы все отметили этот день.

— Ну, Дуся, ты и натворила! Как мне теперь выйти из этого щекотливого положения?

— Люда, поблагодари и оставь все так, не ставь ребят в дурацкое положение, пусть это будет на совести Дуси.

Мне пришлось благодарить одного и другого, краснея и заикаясь.

А жизнь продолжалась такая же тяжелая, только одно согревало — наша армия приближается к границе Германии. Правда, нам разрешали до 8 часов вечера выходить из лагеря сначала в субботу и в воскресенье, а потом и в любой день. Если нам удавалось продать свой брюквенный суп за пфенниги, мы шли в город и покупали салат из морских ракушек.

Жак редко стал подходить, но один раз я вижу, он быстро идет ко мне и начинает помогать мне в работе:

— Люда, я люблю тебя! Я полюбил еще ту плачущую девочку, которая даже не взглянула на трех глупцов, стоявших напротив нее. Я люблю твою выдержку, твою скромность. Всегда изящную, стройную, я вижу тебя, закрыв глаза. Мне легко с тобой говорить на любую тему. Сколько доброго и прекрасного вложили в тебя твои родители. Ведь я по-

любил тебя не только за твою милую внешность, но и за твою глубокую душу.

— Жак, я благодарю тебя за столь искреннее чувство ко мне, за столь лестное мнение обо мне, но, Жак, кончится война, ты взвесишь все и поймешь, что полюбил ты не меня, а одиночество. В твоей жизни появятся новые знакомства, милые девушки. А потом у нас разный язык, разные традиции, привычки.

— Люда, я еще никого не любил, а мне уже 26 лет, я только учился и занимался спортом. А в 26 лет это не юношеское увлечение — это любовь!

Загудел гудок на обед, и мы разошлись. На другой день я стояла у другой машины, и во время работы опять так же стремительно подошел Жак.

— Люда, я сегодня не спал ночь, я все думал. Да, ты права: у нас с тобой разные обычаи, традиции.

Из боковой двери вышел шеф. Жак быстро удалился. Я почему-то рассмеялась. Жак, прости меня.

Подошли ко мне девочки, машину выключили, на обед решили не идти. Все равно есть этот брюквенный суп невозможно.

— И сколько же они ее заготовили, — возмутилась даже Ксения, — и брюква, и брюква!

На другой день все было по-прежнему. В обеденный перерыв Жак не подошел, зато к концу дня стал мне помогать.

— Люда, я не могу разлюбить тебя, всякие доводы бессильны. Я мечтал о тебе всю мою жизнь, — он потянул сухой лист, разрезал щепкой ладонь. Кровь

брызнула на лист дерева. — В жизненной буре я нашел свой идеал.
— Жак, ты поранил руку, — вскрикнула я.
На правой руке он сухим листом вырвал кожу с ладони. Я своим носовым платком перетянула рану и крепко завязала.
— Когда я с тобой, я ничего не замечаю, — с какой-то болью произнес Жак.
Так закончился и этот рабочий день. У меня заныло сердце, я еще не понимала, почему я так переживаю за Жака, почему, когда мне совсем плохо, я молча жалуюсь ему. Мне хотелось сказать Жаку что-то важное, нужное, но я еще не созрела сама. Я еще не понимала, почему по вечерам я думаю о завтрашнем дне, который мне принесет встречу с Жаком.
Не оставлял меня и Эмиль. Почти каждый день, только открывалась дверь в цех, я видела спокойную, высокую фигуру Эмиля с обязательной улыбкой на лице. Да, Господь в той страшной, беспросветной жизни подарил мне два чистых, любящих сердца, чтобы я не осталась ни с одним.
Светлыми лучами в той жизни были в основном мои прогулки с Жаком. Он делился со мной своим проектом моторной лодки, которую он начинал делать на фабрике с разрешения начальства, он рассказывал о последних сводках на фронтах. Жак был для меня светом в этой темной страшной жизни. Вначале я уделяла больше времени Эмилю, но Жак вытеснил своим чувством ко мне все и всех.
Я считаю до сих пор, что бабушкиными молитвами

Господь хранил меня и от злых людей, и от работы, где были одни немцы — и многие со своей неприязнью к русским, а у нас, хоть очень тяжело было, но не было унижений и оскорблений. Шефа мы видели по утрам, и иногда Опа и Ома покажутся — и их нет. Зовет меня как-то Дуся.

— Иди, тебя Опа зовет.

Я подошла к двери нашего цеха, нигде его не было, зато в соседнем, пустом цехе на велосипеде сидел дорогой мой помощник господин Франц. Я бросилась к нему:

— О, господин Франц, почему я так долго не видела Вас, где Вы были?

Вместо приветствия я засыпала его вопросами.

— Дитя, я уже не работаю на фабрике, мои ноги уже отработали, я едва еще могу ими передвигать, сидя на велосипеде. И сегодня я приехал ради тебя. Завтра Пасха, Святой День. Я знаю, твои родители сделали бы этот день днем радости и счастья, и чтобы тебе не было так грустно в этот Святой День, я приехал поздравить тебя сегодня. — И он подал мне домашний пирог, коврижку, домашнее печенье, яблоки.

Я держала эти дары на прижатых к груди руках, и слезы текли по моему лицу, а он, глядя на меня, шептал:

— Не говори ничего, не надо, не надо!

Потом он покинул меня. Я стояла долго в этом огромном помещении, прижимая к себе волшебные дары, с невысказанными словами благодарности и

теплоты к этому милому человеку, который, преодолевая боль в ногах, приехал сюда ради меня, худенькой русской девочки. И только один Господь был свидетелем этой истинной человеческой доброты и безмолвной благодарности. Упокой, Господи, его душу!

А у меня начались страшные головные боли: недосыпания, тяжесть работы и существование почти на 250 граммов хлеба давали о себе знать.

В середине апреля я зашла, как всегда, к шефу, и он дал мне необычное указание: в 8 часов собрать всех девочек в столовую, где обедали иностранцы.

В 8 часов пришел шеф. Мы все были взволнованы, но молчаливы, понимая необычность этого сбора. Трудно было, холодно и всегда голодно, но здесь нас не унижали, никто никогда не оскорблял. Да и поведением девочек могли гордиться наши родные и наша Родина.

— Юные девушки! — так начал свое обращение шеф. — Всем нам жалко расставаться с вами, но в город прибыли беженцы, и им нужна работа, потому вы сегодня прощаетесь с нами и возвращаетесь в лагерь. О каждой из вас у нас останется добрая память! — И он вышел.

Мы стояли ошеломленные, убитые. Вновь новая работа, новые шефы, новые беды. Стали прощаться с нами военнопленные. Опу и Ому мы все расцеловали в щеки, они заулыбались.

Подошел Эмиль, всех обнял, подошел ко мне, долго-долго смотрел, будто собирался запомнить

каждую черточку моего лица, потом трижды поцеловал меня в щеки и вышел. Когда же подошла очередь Жака, он со всеми попрощался, а, подойдя ко мне, махнул рукой и выскочил из столовой. Все молчали. Больно отозвалось в моем сердце. Вроде сразу померкло солнце. Не видеть, не слышать, не чувствовать на каждом шагу поддержки Жака...

В лагере нас встретила Frau Schwarz (госпожа Шварц — (нем.), Шварц — черный (нем.). Вот уж поистине черная женщина. Хмурая, властная. Она травила наших военнопленных ребят овчаркой. Как же трудно было нашим военнопленным в лагере и вообще в Германии! Самая черная, грязная работа, молодые ребята на этой брюкве были похожи на тени, ходячие скелеты. Девушкам нет-нет, но помогали иностранцы, а ребятам было невмочь. Нас распределили сразу на уборку мужских бараков, причем эта фрау сразу предупредила: «Горячую воду для мытья полов не брать. Ясно?!». Сначала она сама за нами ходила, как злая собака, потом стала реже нас посещать, и слава Богу. Прости меня, Господи, никогда я не была так недобросовестна к работе, как в этих бараках. Руки замерзали, в бараках холодно, вода холодная. Простите нас, ребята, что мы не мыли полы, а просто вытирали их мокрой тряпкой. Они, наши мальчики, сочувствовали нам и никому не жаловались.

Слабость, головная боль не давали мне ни минуты покоя. И только поставлю ведро со шваброй на место, бегу на свою постель, закрываюсь с головой и

моментально засыпаю. Я могла спать сутки: в субботу в 2 часа ложилась и просила меня не будить, и спала почти все воскресенье. Зато у меня собиралось две пайки хлеба.

Как-то я только заснула часов в 6 вечера, меня будит девочка из соседнего барака:

— Люда, тебя около моста ждет Жак.

Мне было приятно, что он в середине недели пришел ко мне, но я знала, что я должна его огорчить: от головной боли я не могла даже поднять ресниц, чуть повернуть голову. Но я все-таки вышла. Жак, изящный, элегантный, в коричневом костюме, бросился ко мне — бледной, в стареньком пальтишке, в стареньких туфельках. Он поцеловал меня в лоб.

— Прости, что я не дождался субботы.

— Жак, но я, наверное, никуда не смогу пойти, у меня так болит голова, что я даже не могу говорить.

— Не надо тебе говорить, тебе надо подышать свежим воздухом.

— А потом, посмотри на мой наряд!

— Люда, я вижу только тебя, а костюмы у нас еще будут.

— Я пройду с тобой, только не заставляй меня говорить, отвечать.

— Обещаю, постараюсь молчать, а если что буду говорить, то не требующее ответа.

Мы шли с ним по улице, деревья зеленели, пели птицы, восхваляя мир и любовь.

— Я все время мечтаю вот так бродить по улицам, идти рядом, быть с тобой.

В 8 часов вечера он первый раз задал мне вопрос:
— Очень болит голова? — Жак, очень!
— Для тебя, наверное, долго тянулись эти два часа?
— Нет, я не заметила даже.
— Значит, это очень хорошо, я не надоел тебе.
И когда мы уже вернулись к нашему лагерю, я единственный раз пожаловалась Жаку:
— Ох, Жак, если бы ты знал, как у меня болит голова, — и прижалась головой к его плечу.
— Девочка моя, ты устала, я все сделаю, чтобы ты по-настоящему отдохнула. — И потом, взглянув на меня, внимательно и серьезно сказал: — Люда, мы уже хорошо знаем друг друга, ты знаешь, как я тебя люблю. Сейчас война, но она скоро кончится, согласишься ли ты, Люда, стать моей женой?
— Жак, — я улыбнулась ему и ответила: — Если до конца войны, даже до женитьбы ты не будешь меня целовать и даже брать под руку — да!
Он засмеялся и поцеловал меня в лоб:
— Договор заключен. Теперь ты моя невеста, а невеста во Франции почти жена, и позволь мне заботиться о тебе, ведь я знаю, какой ты ежик. И еще мы должны иметь домашние адреса, потому что в конце войны будет неразбериха. Я найду тебя, где бы ты ни была.
Каждый вечер стал для меня открытием чего-то нового в моем милом друге.
Как-то мы зашли в городской сад, в озере которого плавали лебеди, но не лебеди тронули меня, а плакучие ивы, склонившиеся над озером, отражаясь в

воде. И все, словно кинолента, промчалось передо мной, ожившее и очень дорогое. Я всеми силами старалась сдержать слезы.

— Люда, пусть твои воспоминания будут не болью в твоем сердце, а крепкой поддержкой в любом случае твоей жизни. Вот ты готова сейчас вспомнить свое Зорино и скажи себе: «Я скоро увижу его!»

— Нет, Жак, я просто переживаю о своем отнятом детстве.

— Ничего, впереди много нового, интересного, впереди молодость!

И вдруг раздался одинокий гул грома, чуть-чуть закапал дождь.

— Все, что у тебя отобрали, я верну тебе после войны.

Только благодаря заботе Жака, его доброте, прекратились мои страшные головные боли, я не стала так уставать.

— Жак, ты уже похудел, ты все отдаешь мне, я не могу быть такой неблагодарной, пожалуйста, не надо так жертвовать собой.

— Люда, ты знаешь, что говорили римляне? «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». А я, знаешь, Люда, страшный эгоист, я хочу, чтобы моя невеста была здорова, а не будет ее, жизнь для меня потеряет всякий смысл.

— Жак, я чувствую себя хорошо, но мне тоже хочется что-то сделать для тебя доброе.

— Главное, будь здорова и почаще приходи ко мне на встречу.

— Нет, давай, я тебе что-нибудь постираю.
— Милая Люда, неужели я такой девочке позволю стирать даже носовые платки! Ведь во сколько я сильнее тебя. Хорош был бы я рыцарь, если бы и без того измученному дитя добавил бы еще новые заботы.
Теперь каждый день в лагере с его тяжелой работой, злой фрау и ее овчаркой был днем ожидания вечерней встречи с Жаком. Без него жизнь была бы каторгой. Один раз нас застала тревога на берегу озера. Я рассказывала Жаку, как мы попали с сестрой под обстрел и бомбежку поезда, и, вспомнив, как все прыгали в какую-то яму с запахом сгнившей картошки, я засмеялась и сразу оборвала свой смех:
— Жак, почему ты так смотришь на меня?
— Я понял, Люда, что я могу сделать тебя счастливой!
— Спасибо, Жак. — Я поняла, что смеющейся он не видел меня никогда.
Не знаю, выжила бы я без Жака? Мне кажется, нет. Потому что и моральные, и физические мои силы были на исходе. Таскать ведра с грязной водой, мыть ежедневно полы холодной водой с моими слабыми легкими и получать для физической поддержки голенький брюквенный суп и желудевое кофе с 250 граммами хлеба — все это уложило бы меня навечно в Германии, если бы не Жак.
Как-то после дождя мы шли вечером с Жаком уже к лагерю, я тщательно обходила лужи. Жак ничего не сказал, а спросил меня:

— Ты не забыла, что дала мне слово? Значит, я твой не только жених, но и верный друг.
— Выходит, так.
— Значит, ты возьмешь сейчас у меня деньги и купишь себе туфли.
Туфли были куплены, конечно, не новые, но крепкие, и ноги мои не стыли.
В один из ярких осенних дней я с нетерпением ждала вечера, но незаметно в душе подкрадывалась и разрасталась тревога. И чем ближе был час встречи, тем больше ныло сердце. Как всегда, я пришла к месту встречи. Жака не было. Стою, на сердце тоска, не ухожу. Вдруг совсем с другой стороны пришел, почти прибежал Жак в какой-то странной одежде.
— Люда, нам запретили выходить из лагеря, так как мы отказались подписать договор о добровольной службе в Германии. За мной следят.
— Жак, пожалуйста, возвращайся скорей, зачем ты рисковал? Я бы все равно узнала.
— Но я не могу оставить тебя голодать. Ты знаешь, что все товарищи помогают мне, а я тебе.
— Я теперь переживу, война скоро кончится. Я знаю, что есть ты, что ты думаешь обо мне, и для меня это большая поддержка. Прошу, возвращайся скорей.
— В следующее воскресенье подойди к фабрике с левой стороны, там забор, но доски оторваны, там я встречу тебя в 2 часа дня.
Поцелуй в лоб — и Жака нет.

Как я ждала воскресенья, девочки мне дали осеннее приличное пальто, кто-то — теплую пушистую косынку. Все старались помочь друг другу. Подхожу к забору, две доски приподняты, и Жак рядом со мной. Я чувствую, он взволнован:

— Люда, ты не огорчайся, если меня заберут в концлагерь. Я выдержу ради нас с тобой. Я вернусь. За мной следят.

Я догадываюсь о причине: во-первых, он как офицер своей части никому не разрешил подписать договор, а во-вторых, я знала, он где-то хранил радиоприемник и все взял на себя.

— Выходи к воротам, только встань по другую сторону шоссе, я еще немного побуду с тобой.

Это было прощание. Я перешла дорогу. Жак что-то мне говорит, а через дорогу я не могу все разобрать, тем более он торопится все высказать, но понимаю, что увидимся не скоро и что он через кого-то передаст о месте и времени встречи. Я вытерла слезы, чувствуя, что и это мое счастье вот-вот кто-то украдет. Он прощально махнул мне рукой, грустно улыбнулся и исчез. Я не знала, что это была последняя наша встреча.

В лагере меня ждала новая печальная новость. Всех девочек нашего барака перевозят в город Норденхам. Все уже собрали свои вещи, сдали frau свои постельные принадлежности, а я все пишу, обливаясь слезами, прощальное письмо Жаку. Ведь он еще в Бремене, а меня увозят. Я вложила свою единственную фотографию и отдала это письмо Нате,

которая оставалась в Бремене. Сколько чувства, сколько добрых слов, сколько слов благодарности, сколько тоски и горечи я вылила со слезами на эту бумагу за то счастье, которое Жак дарил мне каждый день, каждый час, каждый миг на чужой земле. Письмо мое Жак получил.

Норденхам — небольшой городок, на окраине — также авиационный завод, бараки рядом с заводом и с вокзалом. Из этого лагеря в Бремен переселили французов, а нас на их место. В каждом бараке были небольшие комнаты, всего по шесть человек. Я перекрестила свою кровать и легла теперь на нижней постели, мне понравились красивые пейзажи на стенке, оставленные каким-то французом. Единственное, чего мне не хватало, — хотя бы маленькой иконки. Комендантом была маленькая пожилая фрау Марта, шустрая и не такая злая, как та «Черная». Она нас не строем, а толпой привела в контору, своего рода биржу труда. И опять бабушкины и мамины молитвы согревали и берегли меня. В душе моей установился покой, какое-то умиротворение. Я уже ничего не боялась после той каторжной работы в бараках, где один вид наших замученных ребят разрывал сердце и душу. А руки я простудила на всю жизнь. Я встала здесь у перегородки, за которой сидели машинистки и щелкали по клавишам, а вся эта суета вокруг как будто меня не касалась. Я не понимала волнения девочек: «Куда, куда нас направят?» Можно подумать, что они мечтали о руководящих постах, — да везде один и тот же рабский

труд! И зачем так волноваться? Я единственно подумала: буду ли я когда-нибудь сидеть вот в такой чистоте и тепле и за своим любимым делом?

Мои мысли прервал мужской голос из-за перегородки:

— Откуда ты, девушка? Кто твои родные? Что ты делала дома?

Я ему все обстоятельно ответила, он улыбнулся и пошутил:

— Такую девочку после войны мы оставим в Германии! Я засмеялась:

— Нет-нет, сразу же домой!

— Ну, ничего, война еще не окончилась, ты пока здесь. Подбери четырех девочек для работы на кухне, — я тут же указала на троих. — Завтра к 7 часам сюда.

Бабушка, милая, ты молилась за меня, ты облегчала мою участь на чужбине!

На другой день получился курьез. Мы пришли вовремя. Он уже был на своем месте, мы поприветствовали его, а он нас озадачил:

— К сожалению, нужно не четыре девушки, а всего две.

Что тут началось! Две мои кандидатки отодвинули всех.

Прерывая друг друга, они доказывали, что только они должны работать на кухне, так как и в Бремене они работали там. Я отошла в сторонку, и другая девочка встала молча рядом со мной. Начальник молча выслушал их горячие доказательства и сказал:

— Во-первых, первой пойдет она, — кивок в мою

сторону, — а вторую она подберет сама.
Так я оказалась на кухне в качестве рабочей. Там уже было восемь девочек, теперь стало десять. Целый день мы сидели с шести до шести часов в полуподвальном помещении, держа на руках удлиненные алюминиевые тазики, и чистили картошку. Иногда приглашали наверх помыть посуду или на хорошеньких девочек надевали белые фартучки с белой косыночкой, чтобы они на подносе подавали начальству в тяжелых мисках манную кашу. Удивительно: и начальство, и немецкие рабочие ели одну и ту же пищу только в разных помещениях. Иногда по пятницам я убирала столовую для руководителей. Это было удовольствие. Натереть полы, сменить белоснежную скатерть, а потом я оставалась одна, молилась и клала поклоны. Я не боялась, что меня кто-нибудь застанет на коленях на полу: в руках была щетка, и я спокойно молилась. Кормили здесь немножко лучше: картофельные супы, овощные супы, иногда, если шефы не доедят, давали по миске жидкой манки. Я не чувствовала себя такой слабой, больной. На душе было легко, только очень тосковала о Жаке.
Прихожу с работы, а мне навстречу фрау Марта:
— Люда, а тебя ждет счастье.
Какое, думаю, еще счастье? Она подводит меня к окну, а на окне лежит письмо. Боже! Письмо от Жака! Если бы можно было, я бы расцеловала фрау Марту, но я только вежливо поблагодарила, улыбаясь во весь рот.

«Liebe Luda!» (Милая Люда (нем.) Так начинались все письма от Жака. Какое это было чудесное письмо! Это писал любящий человек, любящий брат и даже любящий отец со своими заботливыми советами.

В тот же день письмо было отправлено Жаку. Радость, что он в Бремене, что он не арестован, так и кипела во мне. Отвечал он тут же — но вдруг ... замолчал.

Я заскучала на работе, все девочки успокаивали, привлекали к общему пению. А пели они очень хорошо, здесь собрались сопрано, меццо-сопрано, альт и бас. Басом пела маленькая Таня, но никто бы не сказал, видя ее, что поет басом такая крошка. Пели «Узник», «Сулико», да и вообще много пели песен. 12 часов каждый день, можно спеться хорошо. Немцы во время перерыва останавливались около нашего окна и очень дружно аплодировали. А на Новый 1945 год немки посадили нас в столовой с собой, был подан одинаковый обед, и они попросили нас спеть. Прежде перевели на немецкий язык «Узника» и «Сулико». Пели с такой душой, что немки плакали, не стесняясь нас.

После Нового года девочки решили съездить в Бремен. Ведь почти три года прошло там. Там остались друзья, знакомые.

— Люда, ты поедешь с нами?

— Нет, я не поеду.

— Люда, там же тебя Жак ждет.

Всю неделю, не преувеличивая, с утра говорю «да», к вечеру — «нет».

В субботу собрались, подошли к вокзалу, я взяла билет, повернулась — за мной стоял немец, я вручила ему свой билет и, ни разу не оглянувшись, вернулась в барак.

Бабушка, ты вела меня, ты хранила меня. Благодарю тебя, бабушка, ты видела меня, ты вела меня к спасению. Ночью меня будит мать одной уехавшей девушки:

— Люда, ты дома? Поезд разбомбили англичане, две девушки погибли, а одной оторвало ногу.

Господи, как Тебя не благодарить за милость ко мне, грешной! Жаль молоденьких девушек, но, значит, они угодны были Богу.

Прошла неделя, стала я всех упрашивать поехать в Бремен. Как я туда рвалась! Но никто не согласился, к кому я только ни обращалась. Через неделю все-таки поехали мы впятером.

Все было спокойно, никто нас не бомбил. Я первым делом попросила Нату сходить со мной на фабрику. Она согласилась. И каково же было мое горе, когда я узнала, что Жака только в понедельник забрали в концлагерь! Недаром я так рвалась сюда, но одна не решилась.

Я стояла около проволочной ограды, вышел Тони, вынес мне какой-то пакет и письмо. Вышел Эмиль. Он поздоровался со мной, проявил свое сочувствие и успокоил меня, что Жак скоро вернется. И попрощавшись, тут же ушел.

Горько мне было возвращаться назад. Всю дорогу я читала письмо Жака. В пакет был вложен для меня

перстень, с инициалами его и моими, и шерсть для кофточки. Снова работа, ожидание конца войны и возвращения Жака.

Прихожу с работы в начале марта — на моей кровати письмо. Письмо! Жак пишет: «Liebe Luda! Я жив и здоров, и я на свободе. Я обещал тебе, что я сохраню свое здоровье, прежде всего для тебя, и я выполнил свое обещание...».

Он надеялся на встречу. Я тут же ответила и очень просила беречь себя и во время бомбежек ходить в убежище вместе со всеми.

Он мне тут же ответил: «Liebe Luda! Не волнуйся, скоро и над тобой и надо мной засияет голубое небо!»

Не засияло! Я послала еще одно письмо — ответа нет, и вижу сон: стою я в Зорино, наверху своего любимого оврага, и вижу: снизу поднимается по направлению ко мне Жак в черном-черном костюме и такой печальный. Я закричала: «Жак, ты!» и хотела броситься к нему, но он вытянул вперед руки, как бы запрещая к себе приближаться, и медленно-медленно, лицом ко мне, все с той же печалью, поднялся наверх и скрылся.

Это был конец марта. Писем больше не было. Англичане и американцы уже взяли часть Германии, завод остановили, столовую закрыли, кормить нас даже брюквенным супом перестали. Все, кто успел, устроились у крестьян на работу. Пошли и мы с Верой Гончаровой искать работу. Вышли на шоссейную дорогу, она пошла налево, а я направо.

Тепло, ветер апрельский — ласковый, но сильный. Солнышко греет наши остывшие души. В воздухе такая благодать, а я так плачу и так прошу Богородицу помочь нам. Столько пережито, и в конце войны умереть голодной смертью?..

Ни одной души ни впереди, ни позади, ни одной машины, только я и ветер, который я стараюсь перекричать, чтобы услышала меня Божия Матерь. Куда ни зайду, приветливо встречают и как будто сговорились:

— Девочка, ты нам нравишься, но мы только что взяли помощницу из вашего лагеря.

Вечером мы пошли с Верой в город, встретили военнопленных около разбитого бомбой дома. Мы им рассказали, в каком положении мы оказались. Один из военнопленных подал мне найденное при раскопке дома ожерелье и сказал:

— Все здесь погибли, вот все, что от этого дома осталось, возьми — пусть это будет твоим талисманом, — и посоветовал сходить на мельницу. — Там очень доброжелательный человек, может, он возьмет вас на работу.

Мельницу найти было нетрудно. Дверь была открыта, мы вошли с Верой в большое помещение и встретили, действительно, приветливого человека. Мне трудно говорить о его возрасте, в те мои годы все старше 30 лет казались стариками, но где-то за 40 ему было.

Поприветствовав его, мы предложили ему свои услуги. К удивлению, он взял меня за руку и провел

по отделениям мельницы. Везде стояли огромные мешки с зерном, где с бобами, некоторые с мукой. Он улыбнулся мне и спросил:

— Девочка, ты сможешь грузить эти мешки?

Я засмеялась. Он сразу же нас расположил к себе. А потом в свои мешки насыпал нам муки, бобов и ласково проводил нас до двери. На прощанье он нам сказал:

— Как только поедите, сразу приходите, — а сам улыбается.

Я поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. Он засмеялся и долго-долго в полуоткрытую дверь махал нам рукой.

Матерь Божия, это Ты нас спасла молитвами моей бабушки, мамы и всех моих сестер. Ты привела нас неведомыми путями к порогу этого дома, к порогу доброго человека, и он нас кормил до самого прихода англичан. Ты пожалела нас, голодных детей, не допустила возложить на наши плечи тяжелый крестьянский труд. Как нам Тебя благодарить!

И он не только нас кормил, но мы еще и помогали тем, кому была нужна помощь. Рискуя, он помогал двум голодным девочкам чужой, враждебной страны, и мы убедились, какие есть замечательные люди среди любого народа, любой нации. Жаль, мы не смогли с ним попрощаться. Однажды утром к каждому бараку подъехали машины и отвезли всех в один какой-то сборный пункт. Если ты живой, пусть в жизни тебе будет только тепло и свет, если умер, Царствие тебе Небесное!

От Жака писем не было, не было и его самого. Англичане нас быстро переправили на советскую территорию, где нас долго томили в ожидании. И только в августе 1945 года я вернулась трудной, оскорбительной дорогой на Родину.

Зато какой теплотой и лаской я была окружена дома, в Зорино, где собралась вновь наша семья, где был уют, мир и любовь.

Отдохнув, я поехала в Харьков сдавать экзамены. Однажды иду я на трамвай, а навстречу мне Лида. Мы вместе с ней работали на кухне в Норденхаме, а потом она попала в сборный пункт и здесь встретила Эмиля. Он, конечно, спросил обо мне. «Он очень сочувствует тебе, что тебе так больно из-за этого горя». Я ничего не поняла, я не могла подумать, что Жак погиб, а она думала, что мне все известно. «И главное, ты не знаешь, он остался в бараке писать тебе письмо». Я молчу. Мне кажется, что сейчас я упаду, не выдержу этого спокойного Лидиного повествования. Я резко попрощалась и пошла в обратную сторону. Не осознавая, не веря, я брела по проспекту Сталина, заливаясь слезами, не обращая ни на кого внимания. «Жак погиб, Жак погиб!» Нет, нет, не может быть! Я не верю. Я не знаю, как я добралась до своего флигеля, открыла дверь и, заливаясь слезами, я, наверно, закричала:

— Тамара, Жак погиб!

— Ну, чего же ты плачешь, он все равно был в чужой стране.

Я обессилено села на диван и застыла в своем горе.

Разве ей было понять, кого я потеряла! Его смерть убила и меня. Свет погас для меня. Ведь я жила надеждой, верой, что он найдет меня. Все угасло. И все-таки, а вдруг ошибка, ведь там мог быть и другой Жак. Я бы смирилась, если бы он женился, но я бы знала, что он думает обо мне. А, может быть, он тяжело ранен. Я буду ухаживать за ним, но я буду рядом. Я хочу надеяться, я хочу все знать. И я написала письмо Эмилю. Ответ пришел очень быстро.

«Мой маленький друг Люда!

Как я был счастлив, когда узнал почерк, пришедший издалека. Для меня это было, как луч солнца. Ведь ты знаешь, что чувство мое к тебе занимает самое большое место в моем сердце. Но я угадал ту глубокую, единственную любовь, которую питал к тебе Жак. Утешься! Жак никогда не переставал тебя любить. Ты была его невестой и была бы его женой, если бы не случилось это несчастье. Жак был нашим лучшим другом, и мы все скорбим о нем. В самые последние дни марта, накануне прихода английской армии, была объявлена тревога. Жак решил, что уже серьезной бомбежки не будет, остался один в бараке писать письмо. И прямым попаданием бомба попала в барак, где остался твой жених, а наш лучший друг. Мой маленький друг, как я хотел бы тебя утешить, как старший брат, как лучший друг, но, увы! Наши бедные слова ничего не могут поправить.

Навсегда тебе преданный друг, Эмиль».

Господи! Как я благодарна Тебе за то, что на моем трудном жизненном пути Ты послал мне Своего ангела. Но он не мог оставаться на этой грешной земле: он был слишком благороден, добр, чист, самопожертвенен и, наверное, я не была достойна этого человека. Ты дал его и забрал его к Себе. Ты послал его мне в самые трудные дни и забрал, когда наступило облегчение. И я благодарю Тебя, Боже, что Ты дал мне познать на земле, что значит истинная Любовь, чистая, безгрешная! Всю мою жизнь он шел рядом со мной, все свои мысли, невзгоды я делила мысленно с ним. И теперь я понимаю, почему моя бабушка трижды звала меня в монастырь: чтобы я была достойна своего жениха. За свое непослушание уже во взрослой жизни я понесла тяжелый крест по трудной дороге.

Глава 4
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Но жизнь продолжается.
Война разрушила нашу большую и дружную семью. О каждом из нас бабушка не раз повторяла: «Мы все грешные, но все Божии».
Погиб под Сталинградом наш любимый Володя, умерла моя маленькая храбрая мама-крестная; с мужем, профессором медицины, уехала в Оренбург наша Нина, в стоматологическом институте учится Тамара, а Рита — на курсах синоптиков в Харькове.

Домик, в котором жила старица Мисаила

В Зорино остались бабушка, папа и мама.
Как приятно мне было увидеть вместо недостроенного бабушкиного домика с заколоченными окнами веселенький, со светлыми окнами, с геранью на подоконниках за тюлевыми занавесками уютный домик.
Теперь опять родной дом. Бабушка, несмотря на уговоры мамы, не рассталась со своими святыми углами и теперь всегда теплой печкой. Ничего лишнего в маленькой столовой: стол и стулья, в углу икона Спасителя, на стене круглые часы Павла Буре. В нашей гостиной чувствовалась мамина рука: кругом цветы — не комната, а оранжерея. И как она только успела вырастить столько цветов! В углу красивая икона Божией Матери «Знамение» — мамино благословение, и всегда горящая перед ней лампада.
Половину спальни занимала широченная кровать (где они только ее разыскали), напротив, у стены — шкаф и между ними сундучок, слева прилепилась к стене лежанка, покрытая красной шерстяной дорожкой. На полу в спальне и в столовой — такая же, а в комнате шигровский ковер. И в этом маленьком доме нам никогда не было тесно, даже если собиралась вся оставшаяся семья. Здесь все мы находили понимание, поддержку и любовь. Бабушка, мне показалось, нисколько не изменилась: все такая же приветливая и добрая. Все такая же любящая всех и все живое, всегда с радостным взглядом, несущая мир и покой окружающим ее. И внешне такая, какой я ее помню. Волосы под платочком лежали волна за волной по-прежнему. Папа говорил, что

таких волос, как были у бабушки в молодости, он не видел никогда: волнистые, они ниспадали до пят. Какая-то она светлая, на лице приветливая улыбка, и смеялась так заразительно, от всей души. Бабушка не была ханжой; она не читала никому морали, а советы давала только тогда, когда ее просили.

Зато папа помолодел. Таким я его помню в детстве: веселый, энергичный. Он любил пошутить, а шутки его всегда были доброжелательны. Исчезла усталость в походке и в глазах.

Мама теперь не выглядела такой изможденной, какой она мне запомнилась перед отправлением в Германию. Это была «большая хозяйка маленького дома», бабушку она освободила от всех домашних забот: печь вовремя затоплена, в доме порядок, посетителей встретит и всех удобно усадит. Кроме того, у папы с мамой было «хозяйство»: корова и кошка. С сестрами я встречалась только в зимние и летние каникулы.

От Тамары я узнала, что сейчас можно нагнать упущенное время в учебе, — сдать экстерном экзамены на аттестат зрелости.

— Люда, ведь тебе так легко давалась учеба, особенно математика. Ты помнишь, Володя говорил: «Наша Люда — вторая Софья Ковалевская».

— Ничего себе, Софья Ковалевская, два на три не могла умножить.

— Людочка, ты вспомни, сколько тебе было лет, когда тебя усадили за парту, — сказала мама и добавила: — Прежде всего, сходи к бабушке, а тогда

будем решать все остальное.
Бабушка меня выслушала и ответила не сразу. Молилась, перебирая четки. Я ждала с замиранием сердца. Я помню, что еще до войны она не посоветовала брату Володе поступать в вуз. Володя был очень огорчен, а мы все удивлены, ведь он был очень способный. И Володя все-таки поступил. Учился он прекрасно, получил диплом с отличием, хотя ему было очень трудно: годы были голодные. Родители помочь ему не могли, и он днем учился, а вечером работал в столовой счетоводом. И что же? Закончил вуз он прекрасно, получил назначение в Новосибирск начальником гидростанции. Месяц проработал, и его взяли в армию. Началась война — он погиб. Получается, что он провел свои лучшие годы в тяжелом напряжении, переутомлении, а в результате... Может, меня ждет другая участь...
— Бог благословит, внучечка, все у тебя получится. — Бабушка перекрестила меня и положила на мою голову руку. — Будь мудра, будь добра, будь кротка, и все тебе дастся! С Богом!
— Если тебя бабушка благословила, значит, ты все одолеешь, — сказал папа. — Трудно тебе, Людочка, будет, но если ты решила, мы тебе поможем. Настаивать с мамой не будем, но и удерживать не станем.
Я знала, что папа с мамой никогда не давили на нашу волю. Помню, девочкой подсела к папе и объявила:
— Папа, я, когда вырасту, буду водолазом!
— Чудесное решение! Что же, неплохо погулять по дну морскому, там есть на что посмотреть! — без

тени улыбки ответил мне папа.

Через некоторое время я папу обрадовала новым желанием:

— Нет, папа, я буду летчицей! Как хорошо подняться в небо, как птица! Я часто ложусь в траву и любуюсь небом. Оно завораживает меня.

Папа смеется, он понимает, что его девочка переболеет многими профессиями. Главное — я учусь и учусь отлично. Но теперь они отнеслись серьезно к моему решению. Ведь я уже не тот несмышленыш, а человек, много испытавший и хорошо понимающий, что ему в жизни надо.

— Литератора и математика мы тебе пригласим, а с остальными предметами ты справишься сама. Ты у нас девочка способная, сестры и папа помогут, — поддерживала меня мама.

Сестры завалили меня учебниками, а Любовь Петровна — литератор и Вера Павловна — математик достали мне все сокращенные программы для сдачи экзаменов экстерном.

И началась моя работа, упорная и довольно трудная. Я составила свое расписание и старалась не нарушать его.

Литературу я готовила по учебникам, хотя с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем я успела познакомиться до войны. «Евгения Онегина» мы прочли вместе с Любовью Петровной.

Зато как мне понравилось заниматься математикой! Особенно я любила тригонометрию. Иногда папа не выдержит:

— Оставь хоть на минуту свои тангенсы и котангенсы, пойди погуляй!

Вечерами я делала себе передышку: шла к бабушке. Тихо мерцают лампады. Только бабушкины часы-ходики нарушают эту тишину. Я отдыхаю.

Я узнаю из очень скупых бабушкиных рассказов некоторые эпизоды ее жизни. За всю свою жизнь она никогда никого не осудила, и все, что она мне рассказывала, касалось только ее.

Я узнала, что фамилия ее родителей была Гранкины, они были из старого обедневшего дворянского рода. Родители умерли очень рано, и шестилетняя Матрона и ее трехлетняя сестренка остались сиротами. По решению крестьянского схода каждый двор села Муравлево (Зорино) должен был брать сироток к себе на содержание на одни сутки. Бабушкина сестра скоро умерла, а бабушка так и скиталась по чужим дворам до семнадцати лет. А в семнадцать лет ее выдали замуж за Василия Зорина. Он был молодой, красивый, богатый и очень сильный. Василий до этого любил другую девушку, красавицу и уже собирался на ней жениться. Но перед самой свадьбой, не рассчитав свои силы, он поднял какой-то очень тяжелый груз, повредил себе позвоночник, и у него отнялись ноги, он стал инвалидом. Невеста отказала ему, свадьба не состоялась, и тогда его женили на сироте Матроне Гранкиной — нашей бабушке. Тяжко ей жилось, но она никогда не жаловалась на своего мужа. Она не имела права зайти в дом, если ее не позовут, летом спала в сенях или в

сарае, а зимой — на кухне. Бабушка не могла даже помолиться в доме, она молилась и клала поклоны, когда спускалась в погреб. Вся тяжелая работа в хозяйстве лежала на ее плечах. Только в двадцать три года она родила девочку, которая вскоре умерла. А спустя еще шесть лет родила сына, которого назвали Матвеем. Это наш папа. Детство у него тоже было нелегкое. Бабушка после всех дневных работ должна была с сыном на руках всю ночь перевозить людей на пароме. Было холодно и страшно, ведь она была еще совсем молодая. Только горячая молитва помогала ей переносить все эти муки. Вскоре Василий Зорин умер, и бабушка, поручив своего сына свекрови, решила идти в Иерусалим, чтобы там принять монашеский постриг.

Бабушка рассказывала, как они с подругой шли пешком в Киев, оттуда в Одессу, а затем на пароходе в Турцию и уже потом в Иерусалим.

— Бабушка, а не опасно было вам, двум молодым женщинам, идти вдвоем?

— Что ты! Кто же поднимет руку на странниц? Нам, наоборот, помогали: многие просили за них помолиться в Иерусалиме. Я бы тоже осталась в Иерусалиме, — продолжала бабушка, — если бы мне не снился один и тот же сон. Я видела во сне, как меня заливает водой, и какой-то голос говорит: «Вернись на родину: ты там нужна!». Я рассказала об этом сне священнику. Мы долго с ним молились: ведь сны бывают разные, не только от Бога, но и от лукавого. Но сон повторился трижды: в первый раз

вода заливала мне ноги, во второй раз — была по пояс, а в третий — закрывала уже и шею. И тогда священник благословил меня вернуться на родину.
Бабушка вернулась в Зорино, было ей тогда 34 года, и стала она жить с сыночком в доме, который подарила ей свекровь. И здесь после пробуждения от летаргического сна и после явления ей Богородицы бабушка получила дар прозорливости.
Как-то, не выдержав, я спросила бабушку:
— А когда ты проснулась в гробу, наверное, очень испугалась?
— Господи! Да со мной же была Божья Матерь! Это же такая благодать!
Хорошо жить с такой бабушкой!
Чуть-чуть бабушка приоткрыла мне некоторые строки жизни папы. Купец Наумов помог папе открыть свое дело в Петербурге: что-то было связано с сукном, для этого папа держал связь с городом Лодзь, куда сам часто ездил. Здесь же, в Петербурге, он встретил свою будущую жену. Они обвенчались в Казанском соборе.
Я никогда не пыталась узнать больше, чем так скупо сообщала мне бабушка. Однако я узнала, что немало русских солдат и офицеров посещало бабушку во время войны. Всем хотелось жить. И она старалась утешить, накормить, дать крестик, благословить. А проводив, многих тут же оплакивала.
Когда немцы подходили к Сталинграду, многие стали сомневаться в победе наших войск, но бабушка знала: «От Сталинграда немцы бежать бу-

дут». Успокаивала она бывшего секретаря Бесединского райкома партии, руководившего партизанским движением. Она его, бывало, накормит, обнадежит: «Скоро немцы будут бежать». И получив благословение, он опять уходил в свой отряд. Приходил к ней и отец Павел из Курска. Он был высокообразованным человеком, окончившим медицинскую и духовную академии. Во время войны он переправлял партизан с оккупированной территории к своим. Сначала в таких случаях он всегда приходил к бабушке за советом. Только получив ее согласие, он переправлял партизан к своим, укладывая их в гробы, как умерших.

Приезжал к ней и комендант станции Полевая, немецкий офицер.

— Бабушка, не бойся, говори только правду, — обращался через переводчика немец.

Она ему ответила:

— Я никого не боюсь, у меня, кроме Бога, нет другого страха.

Он волновался за свою семью в Берлине, но бабушка его успокоила:

— Семья твоя жива, и никто не погибнет, а вот дом ты строишь в Полевой напрасно, скоро вы будете бежать отсюда, и пока ты будешь вывозить вещи, твой дом растащат по бревнышку.

Офицер не поверил, что будут бежать, а так и было: он вместе с солдатами выносил вещи, а наши люди уже растаскивали дом. Комендант даже возмутился:

— Русские, что вы делаете? Ведь этот дом может быть вокзалом, клубом!

Но увы! Дом растащили.
И после войны людской поток нескончаемо лился к бабушкиному домику: из деревни и из города, свои и чужие, старые и молодые. Шли и шли. Всех, кто посещал бабушку, ждал одинаково теплый прием: нищего ли, колхозника или руководителя предприятия. Среди бабушкиных гостей была и жена секретаря обкома, которая всегда приезжала на машине ночью, и никто, кроме нас, никогда не знал об этом визите. А сколько приходило к бабушке душевно надломленных войной людей! Среди них была и девушка, возвращавшаяся из Германии, которую отец ударил прикладом по руке, чтобы забрать чемодан, не зная, что это его дочь, а ей ампутировали руку. И жена полковника, скорбящая о том, что ее муж в Германии отобрал у немецкого ребенка фартучек, в котором осталась надкушенная детскими зубками морковка. И офицер, который в городе Дрездене на трамвайной остановке снял с немки котиковую шубу, и с тех пор ее молчаливый укор преследовал его везде. И бывший офицер, которого после боя спас немец, перевязав ему раны и дав ему выпить из своей фляжки коньяка, а он застрелил немца из-за золотых часов и только сам поднялся, как шальной снаряд оторвал ему руку с часами. И много, много других несчастных людей. Все они приходили к бабушке за помощью, за врачеванием своих душевных недугов. И она молилась за каждого из них.
Вставала бабушка рано, иногда в 5 часов утра, чтобы успеть помолиться до прихода с поезда людей.

После молитвы она всегда пила только чай. В кухоньке уже ожидали люди. До 4-5 часов дня не прекращался поток посетителей. Папа очень волновался, рассаживал людей, которые длинной цепью выстраивались по коридору. У каждого бабушка спрашивала его имя, кратко, точно, спокойно отвечала на все вопросы, никогда не повторялась. Иногда ей удавалось помолиться одной и отдохнуть до обеда. После обеда она отвечала на многочисленные письма из разных городов.

Вечером бабушка уходила к себе. Там у нее полумрак, горят лампады, тишина, а она в одиночестве сидит на скамейке напротив икон и перебирает четки. Иногда у нее ночевали люди, не успевшие на поезд, или ее близкие знакомые.

Питалась она очень скромно. Мясо перестала есть еще задолго до монашества, как только умер муж. В основном квас, картофель, овощи. Очень любила лук (с луком могла даже чай пить), пшенную кашу, любила и рисовую. Признавала только свои фрукты: яблоки и груши.

Вся жизнь бабушки — это молитва. Молилась она много, и, казалось, каждое мгновение молитвы озаряло ее радостью. Глаза сияли, она простирала руки к иконе Богородицы и восклицала: «Радость, радость-то какая!» Сколько клала она поклонов! Я никогда и ни у кого не видела таких мозолей на коленях, как у бабушки. Она молилась, когда была одна, стоя, сидя, что-нибудь делая; она молилась, принимая людей, потому что, прежде чем дать со-

вет, она, перебирая четки и устремив взор на икону Божией Матери «Знамение», получала во время молитвы ответ от Богородицы. И только потом отвечала на заданный вопрос.

Утром, помолившись, бабушка обязательно прикладывалась ко всем своим иконам, а затем — ко кресту и после принятия святой воды и просфоры шла к нам и осеняла крестом все наши углы и всех нас. Часто вечером я заставала ее одну — горячо молящуюся, безмолвную, углубленную в молитву. И засыпала она с четками, пока они не выпадали у нее, уже уснувшей, из рук.

Летом, когда у нее было много посетителей, она уходила по своей любимой дорожке в сад и там горячо благодарила Господа, клала поклоны и возвращалась к людям. Иногда приходила в комнату, чтобы помолиться за кого-то пришедшего к ней, и говорила: «Господи, какой же легкий дух от этого человека», — и молилась за него. А иногда наоборот: «Какой тяжелый дух от человека». Помолится, вроде стряхнет с себя что-то тяжелое, и — к людям. В то страшное, безбожное время она была источником духовного света: несла людям веру, упование на Бога, на силу молитвы. И сама бабушка была глубоким примером любви к Богу. Никогда не унывала, не жаловалась, что зимой около печки замерзает вода в ведре, что порой тому, кто оставался на ночь, ей нечего было постелить. Отец Михаил из села Бунино, если оставался, клал под голову березовый пенек.

Во всем она видела только лучшую сторону жизни.

Казалось, что темные силы не имеют над ней никакой власти. Отсюда те любовь, радость, мир, которые исходили от нее. Она любила людей и помогала им, она любила детей и всегда старалась любого ребенка порадовать, чем могла, любила все живое. Терпение и смирение были у нее особенные: сколько бы ни приходило и ни приезжало к ней людей, все получали совет и помощь.

До коллективизации бабушка ходила в свою церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В уголке было ее местечко, где она всегда стояла во время службы. Часто она брала с собой мою старшую сестру Тамару, которая с шести лет очень любила ходить с бабушкой в храм. И до сих пор она не пропускает ни одной службы.

По праздникам бабушка пекла просфоры, но после изгнания ее из дома и восьмилетнего скитания в Курске по чужим людям она чаще всего бывала во Введенском храме, в Свято-Троицком женском монастыре.

После войны, когда храм был разрушен, открыли молитвенный дом. Сюда и принесла бабушка икону «Троеручица», которую потом передали в храм села Колодное.

Всех бабушка радушно принимала, встречала людей, приехавших из города, словами: «Птички мои прилетели». Ночью ли, рано ли утром, поздно ли вечером, — всех приютит, накормит. Сколько бывало в ее кухоньке людей, сколько пролито было там слез, сколько утешено сердец и подано надежд!

Сколько раз она оказывала незримо помощь людям! С какими только недугами к ней не приходили: и с сердечными, и с заболеваниями внутренних органов, и бесноватые, — все шли. Лечила она, прежде всего, силой Божией. Молилась, давала святую воду, использовала для лечения и травы. И больным, и бесноватым она клала на голову шапочку, сверху — камушек (те самые — из Иерусалима), а на камушек — руку и читала молитвы. При этом никогда не пропускала «Да воскреснет Бог».

Я сама была свидетельницей того, как бабушка лечила бесноватую. Войдя в коридор, я услышала собачий лай, несшийся из бабушкиной кухни. Я испугалась и ворвалась к ней. И что же? На табуретке сидит женщина, бледная, пот льется по лицу — и лает. Никогда бы не поверила, если бы не услышала и не увидела сама. Потом женщина успокоилась, и бабушка положила ее отдохнуть. Мне же она сказала: «Внучка, когда я лечу, никогда не заходи сюда, на меня это не действует, а тебе может повредить».

И прошлое, и настоящее, и будущее были открыты бабушке до мелочей. Захожу я как-то к ней, никого нет, а бабушка подметает пол и горюет:

— Ох, жалко рабу Божию.

— Какую, бабушка? — поинтересовалась я.

— Да вот, несет мне такой большой арбуз, такой тяжелый.

Через некоторое время стук в дверь, и на пороге появилась женщина с огромным арбузом.

Люди шли к ней, ехали, прилетали из Риги, Ле-

нинграда, Евпатории, Москвы, не говоря уже о близлежащих городах. Зато сколько волнений и неудобств приносили эти люди районному прокурору и местной власти! Они пытались разогнать людей, забрать, запугать их и бабушку, но она всегда отвечала: «Я никого не зову, их зовет горе, и я не могу их не принять».

Никогда ничего не просила она у людей, а если получала от одних, то отдавала другим. Ежедневно приходило много писем, в каждом было горе, в каждом был вопрос: «Что делать?» Отвечала бабушка всем по вечерам, проводив последнего человека. Ее секретарем была наша мама.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Фотопортрет с дарственной надписью старице Мисаиле на обороте

Присылал письма и архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) из Симферополя. Он прислал бабушке свою фотографию, которая до сих пор сохранилась. Письма хранить не могли, после ответа сжигали.

К бабушке шли за советом, и она отвечала кратко, дважды никогда не повторяла. Если она считала какое-то дело полезным, она благословляла, а если считала, что делать чего-то не надо, то говорила: «Совет не даю, а воли не отнимаю». Бабушка видела настоящее посетившего ее человека, предвидела его будущее и на основе этого давала исчерпывающий ответ.

Тесную связь поддерживала бабушка со Свято-Троицким женским монастырем в Курске, ее почитали и ценили в знаменитой Глинской пустыни.

Очень часто бабушка посылала людей в Коренную пустынь, даже тогда, когда туда не допускали людей. Многим она советовала: «Отслужи молебен Божией Матери или Николаю Чудотворцу» в зависимости от скорби или болезни приходящего к ней человека. Нам она всегда говорила: «Будь ниже — да к Богу ближе» или «Смирение и терпение — превыше поста и молитв», «Где можно, лучше помолчи», «Слово — серебро, молчание — золото».

Наша семья всегда жила бабушкиными советами, мы, внуки, ни одного экзамена, ни одной поездки не начинали без бабушкиного благословения. Никому даже не понять, как мы, внуки, любили бабушку. Это трудно объяснить, но когда мы ехали домой, мечтали о встрече с бабушкой. Перед отъездом домой каждый из нас на последние рубли и копейки покупал бабушке самое лучшее по тому времени, все, что могло ее порадовать, ибо другого такого человека для нас на земле не было.

Так и я тогда перед экзаменами в ее кухоньке с образами Спасителя и Божией Матери получала надежную поддержку своим силам. За бабушкиными рассказами время проходило быстро, но ей надо было отдыхать, а мне еще заниматься.

Мама освободила меня от всяких дел по дому. Милая мамочка, как она старалась поддержать меня! Я бы не выдержала такой нагрузки без поддержки всей семьи. Два года я провела в напряженном труде, без отдыха и без каникул.

Наступила весна 1947 года. Благословили меня папа и мама. Бабушка держит в руках крест: «Не волнуйся, внучечка, все сдашь, уповай на Господа, Он тебе поможет». Все трое стоят у калитки, я знаю: они молятся за меня. Ведь они-то знают, что я преодолела.

В Харькове меня ожидал «сюрприз». Только я переступила порог, как Рита мне сообщила:

— Хорошо, что тебя не было здесь: утром, в 5 часов, пришел военный с винтовкой отвести тебя в КГБ. Господи, до чего додумались? Оставил повестку.

С утра я сходила в школу, переписала расписание консультаций и экзаменов для экстернов, а в 6 часов вечера с Ритой мы пошли на ту неприятную встречу. Риту в здание не пропустили, а меня отправили в кабинет следователя.

Следователь был молодой, но какой-то худой и желчный. Только у такого могла возникнуть мысль послать солдата с винтовкой за девчонкой. Психическое воздействие. Но Господь не допустил, чтобы

меня вели, как преступницу под конвоем.
Все было как обычно. Кто? Где? Кто родители? Почему оказалась в Германии? Привел мне пример, как четырнадцатилетний мальчик ушел из оккупированного села, шел где-то один по снегу и даже ослеп. А я вот не последовала его примеру. «И слава Богу», — подумала я.
Терзал он меня долго. Задаст вопрос — выйдет, сижу, жду; заходит — начинает рыться в столе, опять тот же вопрос. Отойдет — ищет что-то в шкафу. И так он меня изводил до 12 часов ночи. Сестричка моя все это время сидела на ступеньках этого здания.
— Я уже думала, что тебя не отпустят.
— Он сознательно доводил меня до какого-то отупения. Ему нужны были имена, а у меня их не было.
— Я несколько раз пыталась узнать о тебе. Никто не отвечает.
У меня подкашивались ноги, разболелась голова. Хорошо, что со мной была Рита. Я почти повисла на ее руке, и только к часу ночи мы добрались домой. Потом следователь еще раз «пригласил» меня, заставил описать, где была, что делала. Я так и сделала — описала город, где была и что делала, и все. Больше он меня не вызывал.
И вот первый экзамен — сочинение. Я пришла, когда в классе уже собрались все 24 человека. Из них всего шесть девушек, а остальные (разного возраста) ребята. Все какие-то взволнованные, все шумят, что-то спешат записать, запомнить на ходу.

А у меня удивительно спокойно на душе. Сижу за партой, слушаю, смотрю, и вроде меня эти волнения и страхи не касаются. И, наконец, зачитаны темы. Первая — по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети», вторая — по поэме В. Маяковского «В.И. Ленин» и свободная тема — тема Родины. О лучшей теме я и не могла мечтать.

Еще до войны я часто выступала со стихами и поздравлениями на праздниках. Хорошая память, звонкий голос, четкая дикция. А перед самой войной, в годовщину Октябрьской революции, председатель поселкового совета Кузьмин попросил нашего директора прислать на торжественное собрание в клуб ученика.

Ксения Степановна поймала меня в коридоре:

— Пойдем со мной!

Привела в учительскую и дала в руки журнал «Пионер»:

— Прочитай внимательно про себя, а потом вслух.

Текст был написан очень красочно редактором журнала «Пионер». Чередовались стихи с прозой. Я прочла, учителя одобрили мое чтение и поручили выучить к празднику. Я, конечно, постаралась.

Торжественное собрание было в большом, недавно выстроенном клубе. Зал был полон. Я пришла с мамой, позже подошел и папа.

— Ты только не смотри на людей, — советовала мне мама, — смотри вперед, выше их голов, все будет хорошо.

Конечно, при таком количестве взрослых людей мне еще никогда не приходилось выступать. В шко-

ле все свои. И вдруг меня приглашают в президиум. Я стала подниматься по ступенькам, зал разразился аплодисментами: вроде поддерживали меня. А Кузьмин усадил рядом с собой. Первый выступал военный. Говорил долго, утомительно. Кузьмин не выдержал, вышел за кулисы, а ко мне подвинул колокольчик. Зал зашумел. А Кузьмин смеется и показывает мне на колокольчик: «Возьми». Я растерялась, только чуть его приподняла, а он так звонко зазвенел, вероятно, руки меня подвели. Зато зал я рассмешила, а потом он затих.

Вторым докладчиком была я. Едва выглядывала из—за трибуны. Кто-то догадался поставить что-то под ноги, пока я устраивалась — успокаивалась. Зал притих.

— Звонко и уверенно начала ты свой доклад, — порадовался за меня папа. — Молодец!

Я ни разу не растерялась, а когда почти в конце я громко произнесла: «И если Родина скажет: «Юноши и девушки, стройтесь в шеренги, Родина вас зовет!» — «Есть!» — ответят по всей необъятной Советской стране», — щедрые аплодисменты были мне наградой.

Вот этот доклад, кстати, помог получить мне «4» по сочинению.

По математике «будущая Софья Ковалевская» получила «3».

Зато химия прошла совсем неплохо. До конца экзамена я не решалась зайти в класс. Вдруг выходит завуч:

— Людмила, ты почему не заходишь? Все уже сдали. Он втянул меня за руку в класс. Помню, как я расписала на доске и все обосновала, но он попросил меня написать какую-то формулу, я написала, но не то. Он шепнул:
— Сотри!
Я получила «4». И только когда вышла в коридор, вспомнила то, что было нужно. Но, увы! Поздно!
Один Господь знает, сколько нужно мне было преодолеть трудностей, чтобы получить аттестат зрелости. Это была тяжелая первая половина поставленной мной цели.
Я сдала документы в Харьковский государственный университет на филологический факультет. До экзаменов оставался месяц, и я поехала в родное Зорино. Помогали и волновались за меня все родные, но и радовались со мной все. Бабушка, как только узнала, что я приехала (я не зашла сразу к ней: не люблю встреч в присутствии свидетелей), отложила все свои дела: «Женщины, подождите, внучечка моя приехала!» Она поцеловала меня в голову, стоит такая радостная.
— Бабушка, я все сдала и получила аттестат. Это ваши молитвы помогли мне!
— Я знаю, внучечка! Слава Богу! Я тебя должна угостить!
— Бабуся, я же не уезжаю, я целый месяц буду дома.
— Нет, нет, погоди! — И она отправилась в свою кладовку и принесла что-то вроде тульского пряни-

ка. И счастливая, отправилась к своим посетителям. Неделю я отдыхала. Обошла все свои любимые места: речку, поле с васильками, лес. Увы, от леса остались одни кусты и пни. Все дубы срублены. Исчезли и белые березы, заросло травой озеро. Я села на срубленный дубовый пенек. Все равно мне было здесь хорошо — и грустно. Почему из 32 французов погиб один Жак? Может быть, я — причина? Господь не допустил этого брака, даже последней встречи! Значит, так было «свыше суждено».

Вечером я забиралась с ногами на диван, мама с вышивкой в руках садилась рядом. Я любила слушать маму о ее детстве, о жизни в гимназии. Мы все знали, что мама в восемь лет осталась круглой сиротой. Когда ей исполнилось семь лет, от воспаления легких скончался ее папа, а через год, во время утреннего чая за столом, скончалась и мама, как говорили, «от разрыва сердца». Братья уже закончили академии, а маму только определили в гимназию.

Отец на имя мамы до ее совершеннолетия вложил в банк 1000 рублей золотом. В 1918 году маме исполнилось 18 лет, она окончила гимназию, но революция отобрала деньги, и мама уехала в Зорино — учительницей. В этой школе она и подружилась с семьей Зориных.

В папину жизнь я никогда не вторгалась, какое-то подсознательное чувство не позволяло мне лезть в его душу. Скупые сведения о нем я получала от бабушки и часто от мамы.

Но расслабляться мне нельзя было: мне необходимо

было преодолеть еще одно препятствие — и довольно трудное.

Почти каждый день я занималась с Любовью Петровной. Она настоятельно советовала прочитать все отзывы о журнале «Звезда» и «Ленинград».

— Люда, это сейчас самая актуальная тема.

— Любовь Петровна, мне ее не осилить.

— Ничего, ничего! Не трусь! Я пока с тобой!

Составили план, разбили на абзацы, к каждому подобрали материал, вообще поработали основательно. Школьные темы я сама повторяла.

— Не связывайся с поэзией, — предупредила она меня, — эти умники понаставили таких знаков препинания — ногу сломаешь.

Мне нравилось заниматься с Любовью Петровной: всегда веселая, всегда бодрая, она и мне не давала падать духом. А бабушка уверенно мне сказала:

— Сдашь и теперь все. Я за тебя молюсь!

И вот я опять в Харькове. Тамара, сдав все экзамены, уехала в Зорино. Рита еще задержалась.

Утром мы с ней пошли на улицу Университетскую, где меня ждал первый экзамен. Вступительное сочинение писали 240 абитуриентов в Ленинской аудитории.

Первые две темы не вызвали у меня восторга, зато свободная! Бабушка за меня не зря молилась. Журналы «Звезда» и «Ленинград». Ведь у меня в голове все по полочкам было разложено, и эпиграф готов:

«Поэтом можешь ты не быть,
а гражданином быть обязан».

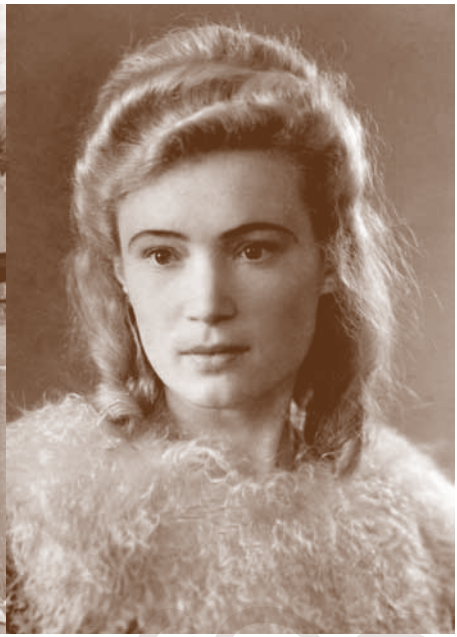
Из 240 работ всего несколько четверок, в том числе и моя!
Все остальные экзамены меня не пугали. По географии меня серьезно подготовил папа, а по немецкому у меня даже в аттестате «5».
После экзаменов, поручив Рите посмотреть списки и сообщить результаты в Зорино телеграммой, я уехала домой. Сидим утром за чаем, я, конечно, — сплошное ожидание телеграммы:
— Завтра Рита должна прислать результаты.
А бабушка:
— Ничего, внучечка. Хотя и последнюю, но тебя зачислят.
— Ну, почему же последнюю, у меня ведь четверки? Бабушка молчит.
Утром телеграмма: «В списках нет». Сказать, что я почувствовала, невозможно. Будто меня на ходу сбросили с коня и растоптали. Никто меня не пытался успокоить: понимали — бесполезно. Я побежала в сад и дала волю слезам. И только бабушка подошла ко мне:
— Ничего, внучечка, поплачь, тебе будет легче. Я знаю, какая боль в твоем сердце, как много ты потратила сил. Но успокойся: ты будешь учиться в этом году.
Я посмотрела на бабушку:
— Бабуся, я еду в Харьков. Может, это ошибка. Бабушка промолчала.
Перед отъездом папа мне говорит:
— Дочечка, не терзай себя так и верь, что тебе ска-

зала бабушка. Ты знаешь, я тебя сегодня видел во сне: у тебя на щеке выскочил огромный фурункул. Это очень хорошо!
Я засмеялась:
— Совсем хорошо!
Никогда мне эта дорога от Курска до Харькова не казалась такой длинной.
Начала я свои «хождения по мукам» с декана филологического факультета Вербицкого. Он был вежливый, понимающий, посоветовал сходить к проректору, а тот в свою очередь направил меня к ректору Буланкину. И что же? «Нет! Уже нет мест!» И только один преподаватель университета, член приемной комиссии, остановил меня:
— Тебя не приняли из-за твоего пребывания в Германии. Все знают, что ты успешно прошла конкурс.
Я вернулась домой расстроенная, но и разозленная. И под горячую руку написала письмо, для того времени весьма смелое. Коротко описала, как я попала в Германию за колючую проволоку, что преодолела, вернувшись на Родину, чтобы попасть в вуз. Я подчеркнула, что у меня нет прошлого, нет настоящего и главное, у меня отняли будущее. И я хочу, чтобы мне или вернули все права гражданина СССР или, если считают меня провинившейся, соответственно наказали. Середины мне не нужно! И на конверте написала: «Москва, Кремль, И.В. Сталину».
Письмо я отправила 29 сентября, а 30 октября пришла повестка с приглашением прийти в обком партии к первому секретарю партии товарищу Вороши-

лову. Принял он меня в точно назначенное время, очень вежливо ответил на мое приветствие, пригласил сесть и сразу же задал вопрос:
— Кто вам писал письмо?
Я ответила:
— Чтобы написать это письмо, надо пережить все, что я пережила с момента моего возвращения на Родину.
Звонит ректору, просит приехать в обком и привезти мое сочинение.
Приехал проректор, и очень скоро. Меня попросили подождать в приемной. Как же тянулось время! Что я передумала за это время, трудно передать! Но прошло не меньше 40 минут. И, наконец, приглашают. Сам Ворошилов очень вежливо, почти ласково:
— Вас зачислили на филологический факультет, классическое отделение. Только одно полугодие без стипендии, до сдачи первой сессии. Ваш декан Вербицкий уже издал указ о зачислении.
Пожелали мне успехов, я поблагодарила и покинула кабинет.
Как после тяжелого сна, я не чувствовала ни радости, ни удовлетворения, а одну усталость. И только дома произнесла: «Рита, приняли!» — и разрыдалась. Мне дали три дня на поездку домой.
С поезда я сошла в Полевой, моросил дождик. Я шла по лугу одна, шла не спеша и благодарила Бога за все; за все, что уже позади. На душе после изнурительного труда, огорчений, обид было спокойно и тихо. Уже подошла к ольховой роще и замерла.

Меня остановил чудный звон. Сначала я не поняла, откуда он. Это звенел ольховый лес, звенели подмерзшие накануне листья от падающих капель дождя. Звон этот был такой дивный, такой нежный! Я не двигалась, слушала его; он ласкал мой слух и успокаивал сердце. От земли, как весной, шел пар, и в воздухе была разлита какая-то благодать. Все это наполнило мою душу теплом и светом, и я воскликнула: «Господи, благодарю Тебя за эту красоту! Господи, Ты слышишь меня?!» И вдруг прокатился

У стен Харьковского университета, разбитых войной. Студенты классического отделения филфака. В центре, в среднем ряду, сидит Людмила Соколова (Зорина)



Людмила Соколова (Зорина). В год поступления в Харьковский госуниверситет. 1947 г.

раскат грома. Будто Господь услышал мою благодарность и подал мне Свой Божественный знак!

И с этим чувством радости я вернулась в свой родной дом.

— Бабушка, меня зачислили. Я знаю: твои молитвы помогли.

Бабушка сидела на своей скамье и ласково мне улыбалась:

— Вот и слава Богу! А ты так убивалась. Ничего, внучечка, скорби и слезы ведут на Небо.

Я прижалась к бабушкиным рукам, а она погладила меня по голове. Потом мы пошли в комнату сообщить, что я студентка.

Первая ко мне подбежала Тамара:

— Люда, что?

Папа и мама поняли по выражению наших глаз. Я рассказала им все.

Людмила Соколова (Зорина). 1949 г.

— Милая моя девочка, сколько же тебе досталось! — обняла меня мама.

— Слава Богу! Все позади! Теперь можно радоваться за наших детей, — папа поцеловал меня и сказал:

Людмила Соколова (Зорина). 1950 г.

— Умница!

Дома я побыла только один день. Я отстала в занятиях на два месяца. Но это уже меня не пугало. Бабушка благословила меня привезенной из Иерусалима перламутровой иконкой «Вход Иисуса Христа в Иерусалим». Прощаясь, я поблагодарила и бабушку, и папу, и маму, и сестер за их поддержку, за их любовь. Без их помощи мне было не справиться.

Итак, я попрощалась с детством и юностью и открыла новую страницу своей жизни, страницу новых событий, новых встреч и надежд.

Прошли года. С Божией помощью и по бабушкиным молитвам я успешно окончила университет и была направлена учителем в небольшой украинский городок. Мама на прощание мне посоветовала:

— Не пощади себя в первый год работы, зато потом ты поймешь, какую ты себе оказала услугу.

Терпением и трудолюбием Господь наградил меня щедро, и я не забывала благодарить Его от всего

Летом в Зорино. Слева направо: Людмила, Нина, Тамара. 1950 г.

сердца. С какой тщательностью и усердием я обдумывала каждый урок, каждый вопрос и предполагаемый ответ! В течение года я каждый урок проводила сначала у себя в комнате перед зеркалом, обращая внимание на интонацию, тембр голоса, паузы. В школу я никогда не шла, не помолясь Богу, не попросив у Него благословения, и Господь помогал мне. Труд мой был мне в радость, на уроке я чувствовала себя уверенно, раскованно, свободно.

В памятном 1953 году я была переведена из Сумской области в Курск. Перевод был дан, а места не было. И я очень благодарна Богу, что Он дал мне возможность побыть эти последние месяцы с бабушкой.

После вечернего чая я провожала бабушку в ее ми-

лую, с горящими лампадками, кухоньку, и мы до самого сна разговаривали. Помню, незадолго до смерти Сталина бабушка сказала:

— Скоро Сталин умрет, и придет русский, но ненадолго, на очень короткий срок.

Людмила Матвеевна Соколова (Зорина) в период работы учителем в Сумской области. 1953 г.

Действительно, Маленкова быстро отстранили от власти.

Уже в сентябре 1953 года бабушка стала повторять:

— Готовься к ответу — добрых дел нету. — И тут же добавляла: — Готовит мне моя подружка место в Иерусалиме.

Я очень огорчалась, слушая ее.

Незадолго до моего устройства на работу мама, бабушка и я утром пили чай. Бабушку уже ожидали люди. Вдруг она уронила чашку с чаем и упала со стула. Я бросилась к ней, подняла ее и посадила. Она даже сразу не поняла, что случилось. Это было в конце ноября 1953 года. Мы с мамой очень просили ее в этот день полежать, но

она отказалась и пошла к людям. С того дня она стала слабеть, потеряла аппетит, но приходивших к ней людей не хотела огорчать отказом. Помню, как в воскресенье вечером бабушка позвала меня к себе:

— Пойдем, я тебя благословлю: ты будешь уезжать на новую работу, я еще буду спать.

Бабушка и мама

Я чувствовала бабушкино состояние и недомогание, когда она меня благословляла крестом. В 5 часов утра я уже пошла на станцию. Первый день на новой работе прошел хорошо, но на следующий день к вечеру меня охватила такая тревога, такое беспокойство, что я металась по комнате своей знакомой Зинаиды Ивановны, не находила нигде места и решила твердо: утром нужно ехать домой. Напрасно меня пытались успокоить и уговорить: «Как ты поедешь, ведь ты только устроилась на работу, и уже на третий день не явишься?!» Но никакие уговоры меня не удержали. Вечером я не могла заснуть, а утром

поехала домой. И только сошла с поезда, встретила соседку Прасковью Ивановну.
— Иди скорее, Люда, бабушка умирает.
Я эти четыре километра почти бежала, рыдая и моля Бога, чтобы бабушка не умерла. Открыла дверь в коридор и, увидев плачущую маму, закричала:
— Бабушка умерла?
Мама успокоила:
— Нет, она ждет тебя, но уже умирает.
Бабушка открыла глаза, она даже спросила:
— Как твоя новая работа?
Я ей ответила:
— Хорошо, мне нравится, но она временная.
— Ничего, ты без работы никогда не будешь.
До самой последней минуты она думала о ближних. Ее слова оправдались опять, я никогда не оставалась без работы.
Впервые бабушка лежала не в кухоньке, а на диване в комнате. Накануне отец Федор пособоровал и причастил бабушку. (За всю свою жизнь бабушка не обратилась ни к одному земному врачу, а только к Небесному; не проглотила ни одной таблетки. Она никому никогда не доставляла хлопот, старалась никак не обременять и не беспокоить). И мама поняла — это конец.
Всю ночь до моего приезда бабушка, едва закрыв глаза, благословляла рукой людей, как будто перед ее внутренним взором проходили все, кого она знала, кто просил у нее помощи за долгие годы жизни. Иногда делала замечания: «Говорила же тебе,

не пей... не пей же», — обращалась она к кому-то, ей одной известному, и снова благословляла. Один раз даже возмутилась: «Сто лет прожила, а такого человека не встречала». Я не отходила от бабушки с момента приезда и до последнего ее вздоха. Смачивала губы, ибо они очень сохли. Рука ее уже лежала неподвижно, и только кисть продолжала совершать крестное знамение. На мгновение открыла глаза, посмотрела на меня:

— Внучечка, делай людям добро, не делай людям зла! Закрыла глаза и тут же ушла от меня в свои мысли. Потом попросила позвать маму, ей она сказала:

— Пошли Тамаре сто рублей, она сейчас очень нуждается.

Из Риги приехала девушка, плачет, просит пустить ее к бабушке. Мне очень не хотелось беспокоить лежащего на смертном одре человека, но бабушка сказала:

— Пусть войдет.

Это был последний человек, который получил от бабушки совет и благословение перед самой ее кончиной.

В 5 часов вечера пульс был 140 ударов. Папа, мама и я были с ней рядом, пульс падал, к 6 часам вечера он упал до 120 ударов. Я обрадовалась:

— Мама, бабушке лучше, у нее пульс 120.

А мама ответила:

— Бабушка умирает, — и спросила ее: — Мама, что у тебя болит?

Тихо-тихо бабушка ответила:
— Все.
Лоб ее покрылся холодным потом, я вытирала его полотенцем, и из глаз бабушки катились слезы. — Отчего ты плачешь?

Бабушка. Старица Мисаила. 1950 г.

Бабушка вздохнула... и ее не стало. Лицо было спокойное и умиротворенное. Было 6 часов вечера 16 декабря 1953 года. Как жила бабушка скромно, никому не надоедая, всех любя, всем помогая, так и умерла спокойно, скромно и красиво, никого не утомляя... За месяц до смерти бабушка сказала: «Сынок мой еще пять лет после моей смерти поживет», — и, обращаясь к маме: «Ты не беспокойся, я не буду тебя обременять, я очень быстро умру». Папа умер в 1958 году, спустя пять лет. А мама в 1989 году постриглась в монахини...

Бабушка скончалась, но она не ушла: она всегда с теми, кто в ней нуждается, кто просит ее совета, кто

с верой взывает к ней. Я знаю, бабушка всегда рядом, и в нужный момент она шлет мне помощь, а моему сердцу — утешение и душевный покой.

Паломники на могиле старицы

Содержание

Глава 1. Любовь и мир.....3
Глава 2. Украденное детство.....36
Глава 3. Германия.....68
Глава 4. Возвращение.....104

Людмила
Соколова

По молитвам бабушки

(Воспоминания внучки
курской старицы Мисаилы)

Компьютерная верстка и дизайн —
издательство «Мечта»
Подписано в печать: 15.07.2015 г.
Бумага офсетная, печать офсетная.
Гарнитура: Academy
Тираж 1000 экз.
Заказ № 67

Отпечатано: ООО «Мечта»
305007 РФ, г. Курск, 1-й Моковский проезд, д.5
Тел.: +7 (4712) 74-00-64; 74-00-63
www. vip-poligraf.ru

«Своей праведной жизнью и верой матушка Мисаила угодила Богу. Более полувека прошло с тех пор, как отошла к Господу старица, но память о ее большой любви к ближним, слова утешения и ласки в тяжелые скорбные минуты по-прежнему живы в людских сердцах».

Митрополит Курский и Рыльский Герман

Эта книга написана младшей внучкой курской старицы Мисаилы. Людмила Матвеевна Соколова была свидетельницей непрестанных молитвенных трудов своей бабушки, которую Господь удостоил сострадательной любовью к людям, даром исцеления и прозорливости.

На долю внучки выпали тяжелые испытания: после короткого счастливого детства в дружной православной семье – арест родителей, нищета, голод, война, принудительные работы в Германии, допросы после возвращения на родину... Упование на Бога и бабушкины молитвы помогли выжить, не отчаяться и сохранить человеческое достоинство.

Эти искренние и яркие воспоминания будут интересны читателям всех возрастов: здесь есть и трогательный рассказ о тайнах и переживаниях детства, и описание благочестивого уклада русской семьи (к сожалению, большинству из нас уже не знакомого), и пронзительные страницы о первой любви – нежной, чистой и трагической.

Книга, которую вы держите в руках – еще одно документальное свидетельство нашей истории, отраженной в судьбе русского человека, которое послужит нам в поддержку и в укрепление веры.

На страницах сайта www.misaila.ru можно найти воспоминания и рассказы очевидцев о случаях помощи монахини Мисаилы людям при её жизни и после смерти, информацию о вышедших книгах, проезде к могилке матушки и фотографии.